

**Военные
Приключения**

УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ



НИК. ШПАНОВ

Военные приключения

Николай Шпанов

Ученик чародея

«ВЕЧЕ»

1956

Шпанов Н. Н.

Ученик чародея / Н. Н. Шпанов — «ВЕЧЕ», 1956 — (Военные приключения)

Вы держите в руках самый знаменитый из романов о «чародее советского сыска» Ниле Платоновиче Кручинине. Вновь ему бросают изощренный вызов враги мира на земле. Но Кручинин и его верный соратник и ученик Сурен Грачик без страха и сомнений встают на пути последышей фашизма и их новых хозяев. Полвека назад этой книгой зачитывалась вся страна.

© Шпанов Н. Н., 1956

© ВЕЧЕ, 1956

Содержание

Пролог	5
Часть первая	9
Ночь на Ивана Купала	9
Арвид Квэп	15
Квэп и Магда	19
Кручинин и Грачик	23
Дело Эджина Круминьша	26
Епископ Ланцанс	30
Адольф Шилде	35
Мартын Залинь	39
Петерис Шуман	42
Прокурора зовут к ответу	45
Анализ бесконечно малых	49
Часть вторая	53
Остров у озера Бабите	53
Женщина со старой мызы	55
Ночь на месте происшествия	58
Рыбак и нож из золингена	60
Старый коллега просит услуги	64
Пансион «Эдельвейс»	68
Карлис Силс	72
Вилма Клинт	78
Снимок отца Шумана	82
Снова отец Шуман	84
Встреча в Алуksне	86
Конец ознакомительного фрагмента.	87

Ник. Шпанов

Ученик чародея

Пролог

Нил Платонович Кручинин не принадлежал к числу людей, которые легко поддаются настроениям. Но невнимание, проявленное Грачиком, все же привело его в состояние нервозности, которую он и пытался сейчас подавить, прогуливаясь по платформе Курского вокзала. Не слишком-то приятно: молодой человек, воспитанию которого ты отдал столько сил и представлявшийся тебе ни больше, ни меньше как продолжением в будущее собственного кручининского «я», не приехал ни вчера вечером, чтобы посумерничать в последний день перед расставанием, ни сегодня утром! «Уехал за город» – этот ответ работницы не удовлетворил Кручинина. Разумеется, дача в июне – это законно, но Грачик мог бы посидеть и в городе, зная, что предстоит отъезд старого друга и немного больше, чем просто учителя.

Кручинин прохаживался вдоль поезда, стараясь не глядеть на вокзальные часы. Но часы словно сами становились на его пути: то и дело их стрелки оказывались перед глазами. До отхода поезда оставалось пятнадцать минут, когда Кручинин решил войти в вагон.

Именно тут-то запыхавшийся Грачик и схватил его за рукав:

– Нил Платонович, дорогой, пробовал звонить вам с аэродрома – уже не застал. Боялся, не поспею и сюда.

– С аэродрома? – переспросил Кручинин.

– Вчера, едва я вам позвонил, – вызывают. – Грачик отер вспотевший лоб и отвел Кручинина в сторону. – На аэродроме происшествие: самолет из Риги, посадка, одну пассажирку не могут разбудить. Тяжелое отравление. Летела из Риги. Никаких документов, и ее никто не встречает.

– Смерть? – заинтересовался Кручинин.

– Слабые признаки жизни...

– Позволь, позволь, – перебил Кручинин. – В бортовой ведомости имеются же имена всех пассажиров.

– Разумеется, запись: Зита Дробнис. Пока врачи делают промывание желудка, успеваю навести справку в Риге: Зита Дробнис не прописана. Заказываю справку по районам Латвии. Но тут под подкладкой жакетика обнаруживаю провалившийся в дырявый карман обрывок телеграммы из Сочи. «Крепко целуем встречаем Адлере». Подпись «Люка», И еще...

– Телеграмма Зите Дробнис? – спросил Кручинин.

– В том-то и дело, что адреса нет – верхняя часть бланка оторвана. Но это неважно. Прошу сочинцев дать справку по служебным отметкам: номер и прочее. Узнаю: обратный адрес найден на бланке отправления в Сочи. Уточняем: отправительница – дочь известного ленинградского писателя отдыхает в Сочи и действительно ждет гостью из Риги. Но ожидаемую гостью зовут вовсе не Зита Дробнис, а Ванда Твардовская. Повторяю запрос в Ригу. Твардовская там оказывается. Даже две: мать и дочь. Дочь по показанию соседей сутки как исчезла. Мать в тот же день уехала, не сказав куда. Предлагаю организовать розыск. Ясно, что имею дело с отравлением Ванды Твардовской – дочери. Фальсификация имени в бортовой записи наводит на подозрение. Заключение лаборатории НТО – яд, у нас мало известный: «Сульфат таллия».

– Да, да, – живо подхватил Кручинин: – сульфат таллия очень устойчив в организме. Эксгумация через четыре года позволяет установить его присутствие в тканях трупа. Яд без цвета, запаха, вкуса, не окрашивает пищу. Продолжительность действия определяется дозой:

от суток до месяца. Сульфат таллия был довольно распространен за границей в качестве средства борьбы с грызунами. Поэтому там его легко было достать. У нас не применялся. Отсюда – первый вывод: яд может быть иностранного происхождения.

– Но в Риге он мог сохраниться со времен буржуазной республики, – возразил Грачик.

– Ты прав, – согласился Кручинин. – Возможно... Дальше?... Остается девять минут до отхода поезда. Нужно решать: брать мои вещи из вагона?

– Зачем? – насторожился Грачик. – Вам необходимо ехать. Я справлюсь. Но позвольте сначала...

– Нахал ты, Грач! – добродушно воскликнул повеселевший уже Кручинин. – Откуда столько самоуверенности?... Однако к делу! Симптомы отравления сульфатом таллия: боль в горле, покалывание в ступнях и в кистях рук; расстройство желудка, выпадение волос. Впрочем, это уже на затяжных стадиях. Совпадает?

– Что тут можно сказать: ведь отравленная – без сознания.

– Да, черт возьми! Ее не спросишь, – разочарованно сказал Кручинин. – Исход может оказаться и смертельным. – И вдруг спохватился: – Эта телеграмма из Сочи – единственное, что при ней было?

– Нет...

– Так что же ты молчишь?..

– Вы же сами не даёте мне договорить... В самолете оказалась вторая отравленная – соседка Твардовской по кабине. Москвичка. Ее состояние много легче. Показала: Твардовская угостила ее, свою случайную спутницу (они познакомились уже в самолете), частью своего бутерброда и дала отпить чая, который был у нее в термосе. Бутерброд, по-видимому, съеден весь, а в термосе осталось несколько капель чая. В них нашелся яд.

– Ну что же, – проговорил Кручинин. – Яд в термосе, который был залит дома или в каком-нибудь буфете. Скорее всего, в ресторане рижского аэропорта. Держись за эту ниточку. Она куда-нибудь да приведет. – Он покрутил между пальцами кончик бородки. – Но странная идея для самоубийцы: прихватить на тот свет случайную попутчицу... Или Ванда – убийца соседки, а сама глотнула яд случайно, а?

– Исключено, – уверенно возразил Грачик. – Они не только не были знакомы, но никогда в жизни не встречались.

– Положим, это еще не доказательство!.. Однако действительно трудно допустить: дать жертве немножко яда, а самой выпить целый термос... Интересно: дело о самоубийстве девицы, желающей умереть в компании. Стоит мне застрять тут, а?... Старость-то, брат, – не радость: начинаю чувствовать, что и у меня есть скелет и положенные ему по штату суставы.

– Поезжайте на здоровье, – настойчиво повторил Грачик. Ему не хотелось, чтобы Кручинин остался. – Лечитесь, отдыхайте.

– Небось, разберешься?! – с оттенком некоторой иронии проговорил Кручинин. – Ах, Грач, Грач! – Кручинин понял, что его молодому другу хочется провести дело без помощи, и покачал головой. – Только не забудь: за такого рода делом может оказаться и рука тех, оттуда. Но... – Кручинин предостерегающе поднял палец, – не нужно и предвзятости.

– Не посрамим вашей школы, учитель джан! – весело отозвался Грачик.

– Нравится тебе или нет, а, видно, придется отправиться в Прибалтику раньше намеченного отпуска.

– Не беда, там и останусь отдыхать. Побольше покупаюсь в ожидании вашего приезда, – и, заглядывая в глаза Кручинину, просительно: – А вашу «Победу» можно взять? Когда приедете с юга, покатаемся по Прибалтике, как задумали.

– Ежели дело тебя не задержит.

– Этого не случится, – беспечно отозвался Грачик, – хотя порой затяжные дела вырастают на пустом месте. Произошло ограбление или даже убийство, – кажется, просто: нашли

нарушителя, изблещили, осудили – и дело с концом. А глядишь, дело-то еще только началось – и растет, растет, как лавина. Даже страшно подчас становится.

– А ты не бойся, Грач, – добродушно усмехнулся Кручинин, – лавина опасная штука, слов нет, но... не так страшен черт...

– Это конечно... – живо согласился Грачик. – Вот, знаете, у нас в горах, в Армении, так бывает: начинается пустяковый обвал. Ну, просто так, ком снега, честное слово! Катится с горы, катится и, глядишь, – уже не ком, а целая гора. Честное слово, дорогой, настоящая гора летит. Так и кажется: еще несколько минут, и – конец всему, что есть внизу, у подножия гор. Будь то стада – не станет стад; селение – не будет селения. Лавина!.. Само слово-то какое: лавина! Будь внизу город – сплющит, раздавит! Просто – конец мира!.. Но вот стоит на пути лавины скала – так, обыкновенная скала, даже не очень большая. А глядишь, дошла до нее лавина, ударилась, задержалась, словно задумалась, и... рассыпалась. Только туман вокруг поднялся такой, что света Божьего не видать. Тоже вроде светопреставления... Что вы смее-тесь? Честное слово! А прошло несколько минут, и смотрите: ни лавины, ни тумана – только на долину снег посыпался и растаял на солнце. Вроде росы. Люди радуются, стада радуются, цветут селения под горой...

Кручинин положил руку на плечо друга.

– Это ты мне притчу, что ли, рассказываешь?

– Правильно вы сказали, дорогой, у меня вроде притчи получилось: ком снега – это они. Катятся с грохотом, с шумом – конец мира. А вот стоит на их пути скала...

– Скала – это ты, что ли?

– Все мы, а я – маленький камешек.

– Не шибко видный из себя? – подмигнув, спросил Кручинин.

Грачик потрогал пальцем свои щегольски подстриженные черные усики и рассмеялся.

– Я только говорю: грохот, шум, страху – на весь мир. А один, только один крепкий камень на пути и – туман!..

– Надеюсь, – со смехом подхватил Кручинин, – в июне лавин не бывает, а?

– Конечно... июньское солнце на Кавказе – ого!.. Неудачное время для отдыха выбрали.

– Лучше солнце в июне, чем толпы курортников в августе.

– Вы становитесь нелюдимым?

– Пока нет, но в дороге и на курорте предпочитаю малолюдство. Особенно перед тем, что мне, кажется, предстоит...

Грачик наострил было уши, но Кручинин умолк не договорив. Он так и не сказал молодому другу о том, что получил предложение вернуться на службу. Назначение в следственный отдел союзной прокуратуры манило его интересной работой, но хотелось сначала отдохнуть и набраться сил. Грачику он сказал с самым незначительным видом:

– Однако пора прощаться, вон паровоз дал свисток.

Они крепко расцеловались, и Кручинин на ходу вскочил на подножку вагона.

Грачик глядел на милое лицо друга, в его добрые голубые глаза, на сильно поседевшую уже бородку над небрежно повязанным галстуком и на тонкую руку с такими длинными-длинными нервными пальцами, дружески махавшую ему на прощанье.

Кажется, в первый раз с начала их дружбы они ехали в разные стороны.

Грачик зашагал прочь от грохотававших мимо него вагонов.

Сегодня и ему предстояло покинуть Москву. Но путь его самолета лежал на север, в Ригу, по следам Ванды Твардовской, по следам нескольких капель чая, содержащих признаки сульфата таллия...

...И ВОТ

ЧТО

ВЫШЛО

из этой поездки
ПРОКУРАТУРА

НАРОДНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ
Латвийской ССР

ДЕЛО № 13/С

По обвинению
Диверсионной группы

«ДТ 1»

по ст. 586, 588, 599 и 136 Уголовного кодекса

НАЧАТО 20 мая 1955 г.
ЗАКОНЧЕНО 18 ноября 1955 г.

Том № 1 – 12
НА 2842 листах

Часть первая

Ночь на Ивана Купала

Несмотря на обычную дождливость июня в этих краях, на этот раз погода была на стороне гуляющих. Лодки одна за другой отваливали от освещенного берега маленького заводского сада. Стоило гребцам сделать несколько ударов веслами – и суда исчезали в темноте. Они без шума скользили по черной, гладкой до маслянистости поверхности Лиелупе. Лодка удалялась от берега, и на ней возникала песня. Молодые голоса славили лето, славили народный праздник Лиго, прошедший до социализма от языческих времен, сквозь тысячелетия христианства, сквозь века неметчины, – праздник, ставший просто радостным зрелищем, с цветами, с песнями, с прогулками по реке и с прыжками через костры. Цветы и огонь были приметами этой ночи. Цветы, огонь и песни.

Из полосы света, отбрасываемой яркими электрическими шарами с пристани, ускользнула и лодка, в которой, среди других, были Эджин Круминыш и Карлис Силс, недавно появившиеся среди заводской молодежи. Оба сидели на веслах. Но когда лодка удалилась от берега, Круминыш положил весла и повернулся к Мартыну Залиню. Залинь был парень огромного роста и, что называется, косая сажень в плечах. Его маленькая голова, остриженная бобриком, казалась еще меньше на этом большом тяжелом теле, занимавшем всю лавку на корме между девушками.

– Передай мне аккордеон, – сказал Круминыш Мартыну.

Получив инструмент, он заиграл. Одна из девушек запела:

Циткарт, циткарт,
Ка яуна бию,
Зедню, на розе,
Ка магониня;
Стайгаю пуоигиус, бракведама,
Ка лацитс аузиняс брауцидамс...¹

Но другая девушка остановила ее:

– Перестань, Луиза!.. Что ты затынула какую-то древность, будто действительно стала старушкой... Если уж вспоминать старинные песни... Эджин, сыграй так, – и, пристукивая ногой, подсказала Круминышу несколько незамысловатых тактов. Тот растянул свой аккордеон. Девушка весело запела:

Кае пуйсити виру Сауце?
Писитс мейту смейейиныш,
Кас азити лопу сауце?
Азитс карклу граузейиныш...²

Она со смехом оборвала пение и крикнула:

¹ В то время, в то время, Как была молода, Я цвела, как роза, Как маков цвет; Я ходила, перебирая молодцев, Как медведь перебирает овес...

² Кто считает парня за человека? Парень только пересмеивает девиц, Кто считает козла за скотину? Козел только грызет лозу...

– Пусть-ка Эджин и Карлис споют что-нибудь из того, что пели там, у себя!.. – На словах «у себя» она сделала особенное ударение.

– Послушай, Ирма, – возмутилась Луиза, – почему ты сказала это так, словно «у себя» они были именно там, а не тут, с нами.

– Ты думаешь, что я не должна так говорить?.. Но ты же поняла меня.

– Я-то поняла, но мне кажется, неправильно так говорить о наших ребятах.

– Хм... – иронически пробормотала Ирма. – Наши ребята!.. Кстати, Карлис: почему вы очутились именно тут, на нашем комбинате?

– Мне кажется... – несколько смущаясь, начал было Силс, но Луиза снова сердито крикнула Ирме:

– А почему ты об этом спрашиваешь? Что ты за контролер, какое тебе дело?

– Помолчи, Луиза, я ведь не тебя спросила, а Карлиса.

– Все равно, ты не имеешь права...

– Почему же, – с усмешкой вмешался Круминыш, – почему Ирме и не спросить, если ей это интересно?.. Мне кажется, что власти определили нас сюда потому, что мы знаем свое дело.

– Ты-то бумажник, а Карлис?.. Он всего только монтер. Почему же вы оба здесь, вместе? – настаивала Ирма, и в голосе ее звучала неприязнь, все больше раздражавшая Луизу.

– Мы друзья, мы всегда были вместе, и мне кажется... – негромко начал опять Круминыш.

– Все-таки тебе кажется... а мне вот кажется... – Ирма вдруг умолкла и после паузы иронически повторила: – Подумаешь, друзья!

Молодые люди переглянулись, и Круминыш пожал плечами.

– Не обращайтесь на нее внимания, – сказала Луиза. – Ирма, отстань!

Но та упрямо продолжала:

– Оба вы работаете у сетки?

Вместо ответа Круминыш бросил на Ирму сердитый взгляд. При свете спички, от которой он прикуривал, было видно, как сошлись его брови.

Он взялся за аккордеон и снова заиграл, но вовсе не то, о чем просила Ирма. Луиза поняла желание Круминыша петь именно то, что поют здесь, а не там, откуда он и Силс не так давно пришли. Луиза запела, но Ирма все не унималась и мешала ей. Круминыш отложил аккордеон и вернулся к веслам. Однако было заметно, что ему не хочется грести. Только мало-помалу дурное настроение разошлось. Круминыш опять принялся шутить и смеяться, как шутил с самого начала, когда они готовили лодку, укладывали в нее палатку и продукты, со смехом и спорами выбирали места. По всему было видно, что Круминыш – весельчак и душа этой компании.

Сильными ударами весел Круминыш и Силс дружно погнали лодку на середину реки, в самую быстрину. И тут Круминыш снова оставил весла и, пробравшись на нос, стал с чем-то возиться, чего не было видно с кормы. Вот он чиркнул спичкой. Блеснул огонек, разгорелся, вспыхнул листок бумаги, ветка, и через минуту костер, сложенный из сухой коры и ветвей, ярко пылал на носу лодки. Легкий ветерок сдувал в сторону пламя, но Силс изменил направление лодки, и пламя стало почти вертикально.

Как только с других лодок увидели этот костер посреди реки, со всех сторон слышался плеск весел, раздались веселые крики. Лодки стекались к костру, как к центру, и закружились вокруг него в широком хороводе.

– Теперь нужно прыгать через этот костер, – сказала Ирма. – Кто первый?

– Перестань! – оборвала ее Луиза. – Доедем до берега, там и будем прыгать.

– Я хочу здесь! – не унималась Ирма.

– Сама и прыгай!

– Пусть начинают они, – Ирма указала на Круминыша и Силса.

Силс насмешливо вздернул крепкий подбородок. Он был рассудительный парень и понимал: на лодке никто через костер не прыгает. Ведь и прыгать некуда, кроме воды. Ирма, разумеется, только шутит.

А Круминыш сказал Ирме:

– На берегу я разведу специально для тебя такой костер, что ты опалишь себе юбку.

– Труссы! – с пренебрежением проговорила Ирма.

В ярких отблесках костра было хорошо видно лицо Круминыша, когда он повернулся к девушкам. Оно казалось совсем красным, и его волосы из русых стали ярко-рыжими.

– Ой, Эджин, какой ты страшный! – вскрикнула Ирма. – Такими рисуют разбойников! А в общем, трусишки!

– Разумеется, мы трусы, – шутливо согласился Силс. – Самые настоящие трусы.

При этих словах Круминыш повернулся к корме. Лицо его стало еще красней, и волосы запылали, как второй костер. Ни слова не говоря, он нагнулся и быстро расшнуровал ботинки. Одним движением сбросил пиджак. Увидев это, Луиза испуганно вскрикнула и сделала было порывистое движение, намереваясь удержать Круминыша. Но сидевший рядом с нею Мартын схватил ее руку так крепко, что Луиза охнула и послушно опустилась обратно на лавку. Между тем Круминыш был уже на носовой банке и, оттолкнувшись, перескочил через нос лодки, где пылал костер. Толчок был так силен, что лодка только-только не зачерпнула воды. На этот раз и Ирма вскрикнула от испуга.

С нескольких лодок, откуда видели прыжок, раздались рукоплескания. Гармоника заиграла марш. Крики, подхваченная кем-то песня и громкий смех – все смешалось в нестройный хор. За ним не было слышно, как перепуганная Луиза умоляла Мартына спасти Круминыша. А Мартын только глядел на нее исподлбья своими маленькими глазками и смеялся.

Силс бросил весла. Не отрывая глаз от поверхности воды, он торопливо расшнуровывал ботинки. Но вот после длительного нырка показалась голова Круминыша. Он был уже далеко от лодки и сильными взмахами плыл к берегу.

Силс подогнал к нему лодку.

– Влезай!

Круминыш оттолкнул протянутую ему руку Силса и продолжал плыть в прежнем направлении.

– А ты не трус, – виновато проговорила Ирма. – Когда ты вылезешь, я тебя поцелую.

– Сначала тебе придется его хорошенько выжать и просушить, – угрюмо сказал Мартын.

– Не беда, – заявила Ирма. – Такого можно поцеловать и мокрым.

Мартын с подчеркнутым пренебрежением повернул свою широченную спину плывущему Круминышу. Потом вдруг подвинулся к Силсу, взял у него весло и принялся быстро грести, отгоняя лодку прочь от Круминыша.

– Что ты делаешь?! – крикнула Луиза, пытаясь отнять у Мартына весло. Она была слишком слаба, чтобы справиться с огромным парнем, однако все-таки ему мешала. Движения Мартына стали неловкими – весло то чертило по воде, то погружалось в нее по самый валец. Мартын оттолкнул Луизу и сильно занес весло вперед. Широкая лопатка прошла над самой головой Круминыша, едва не ударив его по затылку.

– Отбери же у него весло, Карлис! – закричала Луиза со слезами в голосе. – Он убьет Эджина!.. Он его убьет.

– Это было бы лучше всего! – вырвалось у Мартына.

Силс взялся за весла и продолжал держать лодку возле Круминыша, пока тот не нащупал ногами дно и не пошел к берегу.

Костер догорал. Расправленная на козелках одежда Круминыша подсыхала. А он лежал у огня в одних трусах и помешивал угли. Рядом с ним, на песке, забросив за голову короткие, сильные руки, вытянулся Силс. Остальные спали в палатке.

Продолжая, по-видимому, давно уже начатый разговор, Силс вполголоса говорил:

– ...Тебе теперь нравится Луиза! Это твое дело. А я по-прежнему люблю Ингу.

– Как же ты можешь не порвать с нею, если ты здесь, а она там? – возразил Круминыш.

– Я должен быть с нею.

– Что значит «должен»? – нахмурившись, спросил Круминыш.

– Не знаю... Но так... должно быть... Мне не надо другую.

– Ты ответь мне ясно, – настаивал Круминыш, – что значит твое «должен»?

– Ну что ты пристал?!

Силс не договорил и отвернулся. Круминыш придвинулся к нему и, повернув его за плечи лицом к себе, посмотрел ему в глаза.

– Что ты злишься? – спокойно спросил Круминыш.

– Я? – Силс пожал плечами. – Просто хочется тебе сказать: неприятно, когда ты... одним словом, когда вмешиваются в мои отношения с Ингой. Ведь я не касаюсь твоих дел с Луизой...

Круминыш испуганно оглянулся на палатку и приложил палец к губам. Ему вовсе не хотелось, чтобы этот разговор услышал Мартын, хотя Круминыш и не видел ничего предосудительного в том, что ему нравится Луиза. Если бы она была женой Мартына – другое дело. Тогда Круминышу и в голову не пришло бы обнаружить свое чувство к ней. Да и она не стала бы слушать Круминыша. Он в этом уверен. Ну а то, что Мартына и Луизу считают женихом и невестой, вовсе еще не означает, будто он, Круминыш, не может... не должен... Что в самом деле связывает его?.. Мартын ему не друг, не приятель. Был бы на месте Мартына Карлис Силс – другое дело!.. Но ничего, кроме неприязни, Круминыш не чувствует к грубому верзиле и считает, что тот вовсе не пара такой девушке, как Луиза. Правда, Круминышу передавали, будто Мартын как-то проговорился, что не простит Круминышу, если тот отобьет у него невесту. Если это случится, говорил Мартын, – то он посчитает Круминышу ребра. Наплевать, мол, Мартыну, на то, что с этим «опытно-показательным перебежчиком» Эджином (так сказал Мартын) носятся как с писаной торбой! А самым лучшим, по словам Мартына, было бы, если б нашелся «смелый и честный» советский человек, который покончил бы с этим Круминышем – ни богу свечка, ни черту кочерга!..

Да, так сказал Мартын. Это многие слышали.

Если после этого Круминыш счел возможным плыть с ним в одной лодке, то лишь потому, что Луиза умоляла не делать скандала. Но рано или поздно им придется столкнуться на узкой дорожке. Круминыша несколько не пугает то, что Мартын силач и что у него опыт в драках, приобретенный еще во время беспризорничества – Круминыш тоже не напрасно обучался приемам рукопашного боя...

Силс долго сидел, молча вороша головни костра. Наконец сказал:

– Пора спать.

– Спать?.. – рассеянно переспросил Круминыш. – А как тебе нравится то, что давеча болтала Ирма?

– Что именно?

– Насчет нас с тобой, насчет комбината и... все такое.

– Пусть болтает, что хочет, – беспечно ответил Силс.

– А почему она спросила насчет сетки?

– Пусть, говорю, болтает... Мне все равно.

– А мне не все равно, – твердо проговорил Круминыш. – Нет, мне не все равно. Я не хочу, чтобы кто-нибудь смел болтать такое...

– Ничего особенного.

– Ты думаешь?.. А я не думаю. Сетка – самая уязвимая часть производства. Выход из строя сетки означает остановку комбината.

– Сегодня остановился, завтра снова пошел.

– Нет, это не так просто. За одной сеткой всегда может порваться вторая.

– За второй – третья и так дальше? – рассмеялся Силс.

– Ты напрасно смеешься, Карлис: что-то здесь есть, – в раздумье возразил Круминыш. – Запас сеток не бесконечен.

– Ну нет сеток, есть сетки – какое мне до этого дело. Оставь меня в покое с этой чепухой.

– Это не чепуха, Карлис. Если так говорит Ирма, значит...

– Ничего это не значит! Выбрось это из головы. Ирма злая девчонка. Вот и все!

Он снял с прутьев одежду Круминыша и положил ее рядом с другом.

– Давай-ка спать, – повторил Силс, – все твое просохло.

Силс полез в палатку, а Круминыш стал одеваться.

Оставшись один, он собрал в кучу рассыпавшиеся угли, подбросил в них несколько сухих веток и остановился над костром. Хвоя потрескала, словно лопающиеся на сковороде орехи, пустила густой клуб белого дыма и вспыхнула ярким пламенем. Ветки сгорели быстро и сразу рассыпались в легкий пепел, припудривший крупные уголья. Головки под ним то делались ослепительно яркими, то серенькая пленочка пепла быстро одевала их, как веко одевает засыпающий глаз, и снова исчезала. Будто угольки лукаво подмигивали Круминышу. Он долго глядел, как они мигают, и у него зарябило в глазах. Он зажмурился и постоял с закрытыми глазами.

Круминыш не пошел в палатку. Расстелил пиджак возле костра и лег, подперев голову. Так лежал он, глядя на звезды, пока голова не склонилась сонно на подложенный в изголовье рюкзак...

Полотнище, закрывающее вход в палатку, приподнялось, и из-под него выглянула Луиза. Некоторое время она приглядывалась к лежащему Круминышу и прислушивалась к дыханию спящих в палатке товарищей. Затем осторожно, шаг за шагом, передвигаясь на коленках, вылезла из палатки. Присев на корточки, огляделась, пригладила растрепавшиеся волосы, по-прежнему на четвереньках подкралась к Круминышу и села возле него. Долго глядела на него, осторожно протянула было руку к его лбу, но только поддержала ее над головой спящего, не решаясь притронуться. И так же осторожно, словно даже это движение могло нарушить сон Круминыша, отвела руку в сторону и только тогда опустила себе на колено.

Так Луиза продолжала сидеть, не шевелясь и не сводя глаз с лица спящего. Но кому не доводилось испытать на себе во сне пристальный взгляд человека? Кто не помнит, какое беспокойство овладевает при этом спящим?! Круминыш что-то сонно пробормотал и повернул голову. Заметив, как затрепетали его веки, Луиза отвела взгляд, но было уже поздно – Круминыш сел одним движением. Он проснулся так, как просыпаются охотники и разведчики, – мгновенно, без постепенного перехода от сна к бодрствованию, без зевков и потягивания. Присутствие Луизы не только не испугало, но даже не удивило его. Он улыбнулся и протянул руку. Она схватила ее обеими руками и прижала к своей щеке. Ладонь Круминыша была так горяча, что Луиза с наслаждением зажмурилась. От руки Эджина пахло дымом и чуть-чуть табаком, ровно настолько, чтобы этот запах не был неприятен.

Круминыш охватил Луизу свободной рукой и притянул к себе. Ему не нужно было употреблять для этого никакого усилия: она сама подалась к нему.

Луиза лежала возле Эджина на песке, нагретом пламенем костра, и смотрела перед собой широко раскрытыми глазами. И ей чудилось, что нет возможности отличить, где горят звезды в небе и где глаза Эджина. Ее губы шевелились без звука, но ему казалось, что он хорошо слышит и уж, конечно, понимает каждое не произнесенное ею слово.

Вокруг них полусонным предутренним шелестом шептались деревья. В ногах едва слышно журчала в камышах река. Где-то изредка вскрикивала выпь. Но, видно, до болота было очень далеко. Луизе подумалось, что стон птицы похож на грустный зов фаготиста.

Несмотря на свежий предрассветный ветерок, тянувший с реки, Луизе не было холодно: Круминыш накинул на нее свое одеяло, оставив себе всего лишь маленький, совсем маленький край. Луизе казалось, что от Круминыша исходит столько тепла, что и вовсе не будь здесь одеяла, ей не было бы холодно.

Было так хорошо, что скоро перестало хотеться глядеть даже в глаза Эджину... А может быть, это и были звезды, а вовсе не его глаза?.. Может быть...

Едва шевеля губами, так тихо, что Круминыш не слышал слов, она шептала:

Эс редзею Яню накти
Трис саулитес узлецам:
Уна рудзу, отра межу,
Треша тира судабиня...³

Она осторожно – так осторожно, что Эджин и не почувствовал, – коснулась губами его опущенных век и сама закрыла глаза...

Из того, что случилось, Луиза видела только мелькнувшее перед нею в сером полумраке рассвета искаженное лицо Мартына; видела, как его колено опустилось на грудь спящего Эджина, прижимая его к земле. В следующий миг в руке Мартына сверкнуло широкое лезвие ножа. А еще через мгновение, не успев издать ни звука, она почувствовала во рту вкус теплой крови и, словно издалека, услышала злобное рычание Мартына. Выпущенный им нож упал в песок перед самым лицом Луизы. Она схватила нож. А сам Мартын, отброшенный сильным толчком Круминыша, упал на спину, вздымая вокруг себя тучу пепла потухшего костра.

Только тогда Луиза закричала. Крик ее был истерически пронзителен. Из палатки выскочил Силс. За ним, сонно потягиваясь, выползла Ирма. Круминыш сидел, болезненно морщась и потирая грудь. Мартын медленно поднялся и процедил сквозь зубы, не глядя на Круминыша, но так, чтобы он мог слышать и только он один:

– Все одно ты от меня не уйдешь...

Рука Луизы ходила ходуном, когда она передавала Силсу нож Мартына, и губы ее дрожали так, что она ничего не могла сказать.

³ Я видела, что в Иванову ночьВзошли три солнышка:Одно ржаное, другое ячменное,Третье чистого серебра...

Арвид Квэп

В народе болтали, будто Квэп не совсем нормален, – служба в Саласпилсе не прошла ему даром. Но сам Арвид Квэп, да и не только он сам, а и те, кто знал его поближе, понимали: это болтовня, не больше, чем болтовня! О ком не говорят дурно? В особенности когда нечего делать и больше не о ком говорить, сплетничают о ближайшем соседе! Зависть ближних – плохая основа для репутации человека; будь даже его жизнь прозрачна, как хрусталь, и чиста, как душа младенца.

В нынешнем «Лагере № 17 для перемещенных» не было латышей, избежавших могил Саласпилса, а значит не было и людей, знавших Квэпа в прошлом. Жители лагеря № 17 могли судить о Квэпе не иначе как по отдаленной молве. А ведь молва складывается, подобно хвосту кометы, из частиц туманности. Каждая частица в отдельности, может быть, ничего и не стоит, но собранные вместе, они образуют хвост, и такой липкий и длинный, что человеку отделаться от него труднее, чем от собственной жизни.

Простые люди не могли себе представить, что можно спокойно ходить по улицам, есть, спать и просто даже жить, если хотя бы половина того, что приписывали Арвиду Квэпу, была правдой.

Разные люди были в лагере: такие, которых оккупанты силой угнали с родины, и такие, которые сами бежали, спасаясь от справедливого суда. Но все носили теперь странное наименование «перемещенных лиц». Тут были люди различных профессий и разных слоев общества в прошлом. Были учителя и коммивояжеры, электромонтеры и артисты, прачки и портнихи, ученые и не окончившие курс гимназисты, землепашцы и инженеры, и люди иных, самых разнообразных профессий и положений. Не было в лагере только тех, кто покинул Латвию с чековыми книжками в карманах, – капиталистов и спекулянтов. Для таких нашлось пристанище там, где можно было делать деньги. Но теперь не о них и речь.

Что касается самого Квэпа, то он не был склонен поддерживать собственную репутацию в том виде, в каком она нравилась бывшим полицейским и добровольным стражникам – айзсаргам! Он считал, что еще не настало время выйти из тени таким, как он. А пока он скрывался в тени вот уже восемь лет. С того самого дня, как пришлось сменить службу в нацистском лагере Саласпилс на скромное положение рядового перемещенного, без всяких официальных званий, хотя это вовсе и не означало отсутствие у Квэпа сложных обязанностей. На службе у главарей новой эмиграции обязанности Квэпа не стали более узкими по сравнению с тем, что он делал прежде, но даже расширились. В Саласпилсе его главной функцией была организация шпионажа среди заключенных. Ныне к роли организатора внутреннего осведомления среди перемещенных прибавились кое-какие операции внешнего порядка. Эти операции протекали далеко за пределами лагеря № 17 и даже за пределами страны, где находился лагерь. За последние пять лет Квэп сделал успехи и приобрел у Центрального латвийского совета репутацию хорошего организатора разведки. Главари Совета были им довольны. Был доволен собою и он сам. Темным пятном маячила на горизонте только угроза, что придется когда-нибудь самому отправиться за кордон для выполнения какой-нибудь антисоветской диверсии. До сих пор Квэпу удавалось благополучно обходить этот риф. Он всегда умудрялся подсовывать вместо себя кого-нибудь другого. И каждый раз потом благодарил Бога за то, что его миновала неизбежная участь очередного посланного за советский кордон: очутиться в руках советских властей.

С тех пор как начали планомерно работать школы для подготовки диверсантов и шпионов, организованные руководством новой эмиграции, опасение Квэпа быть посланным в советский тыл сделалось меньше. Школы давали молодых парней, подготовленных по всем правилам науки шпионажа и диверсий. Право, эти молодчики были надежнее его самого в таком

деле, как путешествие за кордон. И если бы не пилюля, поднесенная Совету двумя молодцами из выпускников шпионской школы, все шло бы как по маслу.

При воспоминании об этих двух кулаки Квэпа сжались и взгляд маленьких глаз сделался мутным. Он стал таким, как во времена Саласпилса, когда Арвид Квэп, наскучив тайной работой среди заключенных, появлялся на площадке для наказаний. Это бывали дни публичных экзекуций над теми, кого шпионская сеть Квэпа ловила на «месте преступления», – при организации побега, при подготовке восстания или просто во время антигитлеровской «пропаганды» среди заключенных. В такие дни Квэпу принадлежала привилегия самому привести в исполнение приговор над выловленным. Да не подумает читатель, будто Арвид Квэп брал в руки плеть, или рыл могилу на глазах обреченной жертвы, или толкал ее в дверь крематория. Упаси бог! Для такой работы в лагере существовали палачи и подручные. А уж могилы-то могли рыть себе и сами жертвы. Нет, нет, Квэпу доставляло удовольствие приготовить узел петли, которая затянется на шее повешенного. Ради этого он взял несколько уроков у палача. Достигнув совершенства в этом деле, он даже изобрел собственный способ вывязывать смертную петлю. Она отлично затягивалась, но ее невозможно было распустить. «Узел Квэпа», применявшийся для казни узников, был предметом его гордости. А нацистское начальство в целях поощрения усердного служаки назначило ему своего рода «патентное вознаграждение» (так выразился комендант лагеря) за каждого повешенного по его способу. Такое внимание начальства льстило Квэпу, и он не раз в беседах с друзьями сам аттестовал себя «талантливым малым».

Однако с течением времени Квэпа перестало удовлетворять созерцание действия его петли. Он стал иногда позволять себе пощекотать нервы тем, что брал руку казнимого, когда того сотрясали последние конвульсии.

Квэп любил еще отсчитывать удары палки или плети. Он по глазам жертвы судил, сколько она может выдержать, прежде чем потеряет сознание и пытка станет неинтересной. Любил поглядывать и на то, как застывает человек, обливаемый водой на морозе.

Но все это было в прошлом. Квэп считал, что его подло надули, поселив рядом с лагерем, где якобы должны были возродиться порядки Саласпилса. Лагерь № 17 оказался обыкновенным скопищем голодных рабов. «Патриотические» общества эмигрантских заправил черпали отсюда дешевую рабочую силу для своих коммерческих комбинаций. В такой обстановке для Квэпа не представляло интереса вылавливать недовольных. Их нельзя было вешать в его замечательной петле, ни даже временно подвешивать за вывернутые назад руки. Наказания сводились к посылке на тяжелые работы и редко-редко к заключению в тюрьму. Местные власти неохотно отворяли двери тюрем для «перемещенных».

Да, жизнь Квэпа становилась такою же серой и безнадежной, как этот несносный дождь, ливший за окном вторую неделю. Хорошенькое лето! Хорошенькая весна! Квэп не думал о том, что в это время в Латвии светит яркое солнце, особенно на юге; люди выезжают в поле, и от земли поднимается пар перевернутых плугами пластов. Ему было наплевать на то, что бульвары Риги пахнут молодым липовым листом и травка спешит снова подрасти после первой подстрижки. Если Квэпу и приходили в голову сравнения, то лишь при воспоминании о том, что весной в былые времена гуляющие девки появлялись в Риге без пальто и шелк чулок особенно зазывно розовел на их толстых икрах. Ну а в «Саласпилсе»?.. Лето бывало там интересным: сторожевые псы становились особенно злы, и было весело травить ими в леске заключенных женщин, пока те не падали в изнеможении, и с ними можно было без хлопот делать, что угодно. Прямо в молодой траве... А здесь!.. Льющаяся с неба вода, и внизу тоже вода. Со всех сторон вода! Проклятая страна, проклятый климат, проклятые порядки! А тут еще этот подвох со стороны двух посланных в советский тыл парней!..

Квэп с сумрачным видом перечитал напечатанное в рижской «Цине» сообщение Комитета государственной безопасности СССР: несколько месяцев назад двое диверсантов из числа «перемещенных» по имени Эджин Круминыш и Карлис Силс были заброшены в Советский Союз военным самолетом «третьей страны» для выполнения шпионско-диверсионных заданий. Однако вместо того, чтобы выполнять эти задания, оба они отдали себя в руки советских властей. На первом же допросе парни рассказали все, что знали о «патриотических» эмигрантских организациях. Они рассказали, как в течение нескольких лет их обоих держали на голодном пайке в лагерях для «перемещенных»; как завербовали на работу в Северную Африку, суля золотые горы; как вместо золотых гор они нашли в Алжире лишь палящее солнце, тесные нары и рабский труд от восхода до заката солнца...

Дочитав до этого места, Квэп крикнул и положил на газету кулак. Он уже знал, что это только безобидная присказка по сравнению с тем, что следует дальше. Самым скверным было то, что Круминыш и Силс рассказали советским органам, как после такой «подготовки», когда человек готов покончить с собой от отчаяния, ему предлагают спасение в виде поступления в школу разведки. Оба беглеца выложили, как их обучали ремеслу шпионов и диверсантов, как забросили в Советский Союз, снабдив деньгами, оружием, взрывчаткой, ядами и радиоаппаратурой. В заключение описывались перипетии Круминыша и Силса в Советском Союзе.

В Латвии они не могли ни на минуту почувствовать себя хорошо, несмотря на лежавшие в их карманах «отличные» документы. Куда бы Круминыш и Силс ни совались, с кем бы ни приходили в соприкосновение, – они всюду чувствовали себя чужаками.

Когда Квэп доходил до описания того, как эти двое явились в сельскую милицию, его руки начинали дрожать и губы вытягивались так, словно он собирался подуть на жегший его пальцы газетный лист. Да, такого отвратительного подвоха Квэп давно не видывал! А ведь самое неприятное, что взрывалось прямо-таки подобно бомбе, следовало дальше, в конце сообщения: вместо того, чтобы расстрелять негодяев, советские власти простили их и объявили полноправными гражданами СССР! Молодцов даже поставили на работу наравне с другими советскими людьми. Да, да! Если б их отправили к стенке или хотя бы в тюрьму – все было бы в порядке. Но эдак?! Тут были спутаны все карты Квэпа.

Квэп понимал: наивно надеяться на то, что Шилде ничего не узнает. Если он сам не прочтет этого сообщения, то суматоху поднимет Пуксис. Для кого Шилде грозный «недосягаемый», а для Пуксиса он всего-навсего исполнитель приказов и ничего больше. Может быть, когда какой-нибудь выведенный из терпения «перемещенный» всадит Пуксису пулю в спину, сам Шилде станет фактическим начальником организации, но пока он вынужден помалкивать и подчиняться. Ведь даже «недосягаемый» не смеет назвать Эдмунда Пуксиса его собственным именем и обязан величать его «господин Легздинь» – кличкой, под которой тот известен членам «Перконкруста». Подумать только! А ведь и Пуксис вовсе не такая уж шишка. Над ним тоже есть кому командовать. Начать хотя бы с Раара – предводителя всей латышской эмиграции... «Сам Раар»!.. Подумаешь – «сам». Этим «самим» помыкает какой-то майор из иностранной резидентуры.

Хорошо, что Квэпу не приходится иметь дело с такими, с позволения сказать, «звездами». С него хватит крика, который поднимет Шилде из-за этих двоих!..

Круминыш давно уже казался Квэпу подозрительным. Но как было не послать его в школу, когда за него замолвил словечко пробст Висвалдис Сандерс. Квэп знал Сандерса еще в те времена, когда оба они были айзсаргами. Тогда пробст напутствовал на тот свет смутьянов, которым Квэп выдавал свинцовый пропуск в царствие святого Петра. А вот теперь Висвалдис Сандерс заседает в Центральном Совете бок о бок с персонами вроде полковника «СС» Лобе или Альфреда Берзиньша – бывшего министра и начальника айзсаргов в блаженные времена Ульманиса.

Когда человек залетает так высоко, как залетел пробст Сандерс, он забывает старых друзей. Стоит пробсту сказать словечко председателю Совета епископу Ланцансу о неисполнительности Квэпа, как посыплются вопросы и запросы. Шутка ли: говорят, что его преосвященство епископ Язеп Ланцанс поставлен во главе Центрального латышского совета с благословения самого папы. Вот уж действительно только того и не хватало Квэпу – вступить в конфликт с римским папой! Пусть кто-нибудь теперь скажет: мог ли он, Арвид Квэп, десятая спица в колеснице, не послать этого пробстова племянника Круминыша в шпионскую школу, если там исправно платят жалованье в устойчивой иностранной валюте, дают хорошую одежду и каждый день кормят омлетом и тушенкой?!

Однако кто станет во всем этом разбираться? Важные господа там, наверху, из-за одного страха потерять заграничные стипендии готовы съесть самого Квэпа с костями: раз поезд сошел с рельсов – должен найтись виноватый стрелочник.

Так обстоит дело с Круминышем. Другое дело – Силс. За Силса Квэп даже сейчас готов поставить свою мызу, оставшуюся в Латвии. Если Силс и пришел к советским властям с повинной, то лишь потому, что его вынудила к этому явка Круминыша – все равно из-за Круминыша схватили бы обоих. Да, Квэп уверен: Силс еще покажет себя. В нынешнем положении Силса «покаявшегося» есть даже преимущество: теперь-то уж ему нечего бояться разоблачения. Квэпу придется только продумать вопрос, как снова наладить надежную связь с Силсом. Связь! Вот главная загвоздка. Провал Круминыша и Силса дорого обойдется всей разведке. Придется перестраивать организацию: менять адреса школ, клички преподавателей, и, может быть, даже выкинуть за борт весь нынешний состав обучающихся. Впрочем, и это все мелочи: учебники, преподаватели, ученики – живой и мертвый инвентарь шпионских школ. Главные хлопоты предстоят с переменой того, что Круминыш и Силс разоблачили по части зарубежной сети: коды, явки, агентура, система конспирации и связи. Вот действительно беда, в которой не сочтешь убытков!

Небось, хозяева заявят, что руководители «Перконкруста» – «заевшиеся свиноводы». Зарубежные хозяева особенно любят напирать на то, что «свиноводы» обходятся дороже, чем стоят их услуги. А во всем президиуме «Перконкруста» нет ни одного человека, который имел бы иное отношение к свиньям, кроме того, что кое-кто участвовал в знаменитом «свином» параде. Это было в те времена, когда Карлис Ульманис казался им, членам «Угунс Круста», чересчур либеральным правителем. Они с завистью смотрели на эстонских молодчиков из Вильянди. Те могли гордиться: их гимназия дала миру такого корифея, как Альфред Розенберг!..

Да, было время! Айзсарги и угунскрустовцы воображали, будто сумеют навсегда утвердить в Латвии настоящий, стопроцентный фашизм вроде гитлеровского... И вот что из всего этого получилось!..

Квэп и Магда

Квэп смотрел в окно. По стеклам, собираясь в тоненькие ручейки, сбегали дождевые капли. За окном виднелся просторный пустырь. Трава на пустыре была вытоптана. Там был устроен учебный плац охранного отряда, недавно сформированного Центральным советом по заказу иностранного командования. Четырнадцатое по счету формирование! Сначала был спрос на «транспортные» и «инженерные» роты, теперь – вот уже пятый раз – из «перемещенных» собран этот «охранный отряд». Прежние увезены отсюда. Они несут охрану порядка там, где хозяева не полагаются на команды бывших эсэсовцев.

«Хе-хе, бог даст, – думал Квэп, – помоги, Господи, помоги!.. Молодчики, что шлепают сейчас по мокрому плацу, сумеют когда-нибудь навести прежний порядок и в самой Латвии. В рядах команд не мало ребятков, прошедших школу в айзсаргах. Они староваты, но зато им не привыкать бить по шее и ставить к стенке бунтарей!

Раз, два!.. Раз, два!.. Левой!.. Левой!..»

Квэп с удовольствием притоптывал ногой, глядя, как обучаемые шлепают по грязи на учебном плацу. Иностраный инструктор рубит ребром ладони: «уон, туу... уон, туу!..» В такт его движениям помощник инструктора громко выкрикивает: «Айнц... Цвай... Айнц... Цвай...»

«Да, голубчики, – думает Квэп, злобно сжимая челюсти. – Стоило водрузить красный флаг над Ригой, стоило левым попросить защиты у Москвы, – и вы уже вообразили, будто можете во всю глотку орать «свобода, свобода!» Ан, приходится снова браться за обучение немецкого языка, чтобы понимать команду. Да, черт побери, мы еще найдем управу и на вас и на вашу «свободу»: «айнц... цвай!.. айнц... цвай!» Да, интересная штука это «колесо истории»! Но, черт с ним, пусть оно вертится, как ему положено, ежели из этого может получиться толк для Квэпа. А толк, как кажется Квэпу, должен выйти: кое-кто получит готовенькое войско. Только бы пустить эти «команды» в дело. «Инженерные роты» сумеют инсценировать красного петуха таких размеров, что зарево будет видно от Айнажей до Даугавпилса и от Вентспилса до Корсавы. Найдется дело и для тех, кто, вроде Квэпа, прошел школу у гитлеровцев в Бикер-никском лесу и в Саласпилсе!..

Квэп потер мясистые ладони больших рук.

– Найдется работа... найдется всем, голубчики!.. А вот кое-кому придется и поплакать!.. – угрожающе пробормотал он и отвернулся от окошка.

Время мало подходило для приятных мыслей. Лежавший в кармане лист «Цини» обжигал бок. Нужно было придумать оправдание провалу Круминыша и Силса... Как-никак оба они – его подопечные. Чего доброго, придется еще мчаться во Франкфурт, чтобы замазывать дыры в треснувшем доме. Господа иностранцы, как всегда в таких случаях, начнут с угроз прекратить финансирование этих «свиноводов»!..

Квэпу казалось, что все было очень хорошо налажено: каждый человек, содержавшийся в лагерях для «перемещенных», давал главарям эмиграции ежедневный доход в шестьдесят пять центов за счет одной только недодачи ему пайка. А продажа на сторону предназначавшегося «перемещенным» обмундирования из запасов «победителей»?! А торговля старыми инструментами, которые иностранные «друзья» вместо того, чтобы выкидывать на свалку, предоставляли «перемещенным» в качестве орудий труда?! И ведь все это было еще не главной статьей. Лучший доход составляли комиссионные, получаемые за каждого «африканца», то есть за «перемещенного», посылаемого на работу в Африку. В добавление к тому, что из собственного заработка завербованного причиталось главарям за «устройство» на работу, высокие комиссионные платили еще и компании, получавшие дешевую рабочую силу. Но основу жизни эмигрантской организации прибалтов составляли средства, даваемые иностранцами.

Деньги отпускались на «тайную войну», которую вели организации эмигрантов, якобы державшие связь со своими подпольными ячейками в Советском Союзе. Другое дело, что все это было настоящей «липой». Никакого «подполья» в СССР не существовало. Нельзя же было считать подпольем несколько отщепенцев, по благодати советского народа доживавших свой век в латвийском захолустье и втихомолку брюзжавших на новые порядки в Латвии. Подчас Квэп и сам не понимал, как могут его руководители не догадаться, что если бы так называемая «сеть» была опасна для СССР, то КГБ ее давным-давно раздавил бы. Да и разве нужно было тратить столько хлопот на подготовку для засылки в советские пределы шпионов и диверсантов из числа «перемещенных», ежели бы они имелись в готовом виде внутри советских границ. Но не в интересах Квэпа и других мастеров темного промысла, кормившихся вокруг эмигрантского корыта, раскрывать глаза своим заграничным хозяевам. Они старательно поддерживали иллюзии насчет перспектив своей подрывной деятельности.

Однако Квэпу сейчас не до высоких соображений, да он и не был на них способен. Следовало подумать о том, как парализовать конкретную опасность, нависшую над его собственной головой из-за провала Круминыша и Силса.

А что если?... Да, положительно – вот верная мысль: Круминыш и Силс должны быть уничтожены! Или точнее: один Круминыш. Силса нужно сохранить. Он еще сделает свое. А Круминыша – убить! Убить непременно и поскорей!.. Ах, черт побери, старина Квэп может похвастаться: этот кочан недаром сидит у него на плечах; убить, убить Круминыша.

Довольный собою, он вызвал по телефону Шилде и попросил доложить Пуксису-Легздиню о том, что желает сделать руководству важное сообщение. Шилде долго расспрашивал, о каком сообщении идет речь, но Квэп держался крепко и ничего ему не открыл. Он знал, что стоит выдать план, и Шилде перескажет его Пуксису как свой собственный. Тогда он, Квэп, останется с носом – все выгоды придутся на долю Шилде. Нет, черт возьми, Квэп не даст обехать себя на кривой!

Квэп постучал в перегородку.

– Магда, завтрак! Со следующим поездом я уезжаю... И подай мою бутылку из кладовой...

– Опять напьетесь... – слышался недовольный голос из-за перегородки.

– Ты с ума сошла, девчонка! Кто же напивается, едучи к высокому, можно сказать, к высочайшему начальству. Только глоточек для храбрости. Чтобы слова не застревали в горле... Хэ-хэ!

Квэп толкнул дверь, вошел в кухню и отвесил тяжелый шлепок нагнувшейся к плите Магде. Это была девушка – вот уже третья за этот год, – взятая им из лагеря для выполнения обязанностей прислуги.

– Ну-ка, что ты придумала на завтрак?

Плотоядно потирая ладони, он уселся за стол. Ел быстро, сильно двигая челюстями и громко чавкая. От каждого блюда оставлял понемногу на своей тарелке. Это предназначалось для Магды. Но оладьи с вареньем ему так понравились, что он, отодвинув было три штуки для работницы, съел одну из них, а подумав, доел и две остальные.

– Ты не похудеешь, – сказал он, смачно прищелкивая толстыми губами, – возьми вместо оладий картошки. Она отлично нагоняет тело, хэ-хэ... А быть в теле – это главное для девчонки, как и для свиньи, хэ-хэ!

Квэп прошелся взглядом по фигуре Магды. Девушка стояла, прислонившись к дверному косяку. От этой позы ткань блузы на ее груди натянулась, и Квэп с удовольствием задержал взгляд плотоядно прищуренных глаз на этом месте. Черт их дери, этих деревенских девок! Даже голодные, они умудряются сохранить такую грудь, словно в ней хранится запас молока на все их потомство вперед! Ах, черт возьми!.. И Квэп снова облизал губы, как после оладий с вареньем.

Поймав его взгляд, Магда потупилась и негромко сказала:

– Вы обещали похлопотать насчет... Яниса.

Ее несложная психология безошибочно подсказала ей, что сейчас подходящий момент для такого вопроса. Скоро два года, как ее Янис – единственный на свете парень! – уехал в Африку. Контракт был на год, а Янис по сию пору не может вырваться. Говорят, в этой Африке еще хуже, чем здесь. Янис пишет: еще немного, и он вовсе не вернется... Что же она будет делать без своего Яниса?..

При мысли о Янисе щеки Магды порозовели. Глаза Квэпа, подернувшиеся влагой от водки и оладий, остановились теперь на лице Магды. Он подумал, что на свете бывают, конечно, девицы и поприглядней, но если принять во внимание, что эта особа не стоит ему ни гроша...

Не спеша с ответом на вопрос Магды, Квэп потягивал горячий кофе, дуя сквозь выпяченные губы.

– Плохо тебе у меня, что ли?.. – выговаривал Квэп между глотками. – Дура ты, девка! Что тебе в твоём голоштаннике? Или воображаешь, что он привезет тебе мешок африканского золота!.. Лучше налей-ка мне еще чашечку... Это, конечно, не тот кофе, какой, бывало, пивали в нашей Риге... Вспомнить «Ниццу». Какие там были сливки!.. А девчонки-то, девчонки! Ту, бывало, ущипнешь, так уж от одного этого прикосновения кровь начинает играть, словно выпил!.. Ах, Магда, Магда, вот когда была жизнь, скажу я тебе...

– Люди говорят: никакой тогда не было жизни...

– Дура ты... Настоящая деревенская королева!

– Скажите же мне насчет Яниса: вернете вы его из Африки или нет? – При этих словах в голосе Магды прозвучало что-то, что заставило Квэпа отставить чашку с кофе. После некоторого размышления он сказал:

– Ладно, вернусь от начальства, ляжем рядышком да потолкуем о твоём Янисе... Что-нибудь и придумаем, хэ-хэ.

И снова принялся за кофе, не глядя на Магду.

Полногрудая и широкобедрая, с жидкими, словно отмытыми до серебристой белизны льна волосами, Магда молча глядела, как Квэп пьет. Взгляд ее не отличался выразительностью. Тем не менее, если бы Квэп попытался прочесть то, что было в нем написано, кофе, вероятно, застрял бы у него в горле. Ненависть светилась в белесых глазах Магды. Это была ненависть затравленного существа, долго, терпеливо, по вековой привычке к рабству копившего обиды целых поколений. Но с поколениями сдерживающие эту ненависть силы ослабевают, и все, что было накоплено от праотцов, начинает вырываться наружу. Тогда происходит расправа – беспощадная, но справедливая.

При каждом движении тяжелых челюстей Квэпа у Магды перекатылся желвак под воротником кофты. Словно она проглатывала набегавшую слюну. Девушка глядела на розовые щеки Квэпа, такие круглые, будто под каждую из них он запихнул по оладье; она глядела на его большой круглый с сизоватыми прожилками нос, двигавшийся вместе со щеками и круглым подбородком. И в ее взгляде была ненависть к щекам, к носу, к подбородку, к толстым, оттопыренным и почти всегда влажным губам Квэпа. Даже его голубые глаза и полуприкрытое, словно парализованное, веко над левым глазом – все возбуждало ненависть Магды. Чтобы совладать с этой ненавистью и не выдать ее, она опускала взгляд на свои большие крестьянские руки, сложенные на животе.

Квэп не был психологом вообще, а уж вдумываться в переживания прислуги он считал бы просто глупым. В этом было его счастье. Иначе, пойми он мысли Магды, он не смог бы сомкнуть глаз и на полчаса, а не то, чтобы крикнуть вдруг среди ночи, как обычно:

– Эй, Магда!.. Спишь, толстуха?.. Ну-ка, приди взбить подушку твоему хозяину!

Как Магда вглядывалась в резкий шрам, перерезающий у горла розовую шею ее хозяина! Если бы Квэп это видел!.. И даже орел, большой синий орел, держащий в лапе свастику, искусно вытатуированный у Квэпа на груди, вместо восхищения возбуждал в Магде только ненависть. И об этом тоже Квэп мог бы прочесть во взгляде Магды...

Покончив с едой, Квэп наконец встал из-за стола, обсосал липкий от варенья палец и повалился на старый, продавленный диван, служивший ему для послеобеденного сна. Но сегодня уже не было времени спать: стрелки часов на стене кухни напоминали о том, что близится время отхода поезда.

Поворчав на тяжелую жизнь, Квэп скоро встал и, одевшись тщательнее, чем обычно, отправился на станцию. Он шагал по липкой глине и перебирал в уме имена людей, из числа которых можно было бы выбрать исполнителей задуманного плана. Их лица проплывали перед его взором, и когда он наталкивался на кого-нибудь, казавшегося ему подходящим, то произносил имя вслух и загибал палец.

Дойдя до станции, Квэп расправил пальцы. Только большой остался загнутым. Но подумав, разогнул и его. Квэп смотрел на него так, словно это был не его собственный палец с выдающимся хрящом сустава, поросший жесткими рыжими волосами и увенчанный нечистым обгрызенным ногтем. Квэп смотрел на палец так, будто перед ним был живой кандидат, способный, не задумываясь, всадить пулю в затылок Круминыша. Надежный кандидат, обученный своему делу в нацистском застенке!

Квэп крикнул от удовольствия. Довольный своим выбором и своим планом, не спеша направился к билетной кассе.

Через некоторое время после этой поездки Квэпа произошли оживленные сношения – письменные и при помощи посланцев – между главарями разных эмигрантских латышских организаций. Целью сношений было объединение усилий на почве содействия «делу Круминыша».

По началу это дело послужило причиной резкой критики действий более молодого Центрального латышского совета со стороны зубров антисоветских происков. Матерые фашисты из «Перконкруста», из «Тевияс Сарге», из рядов айзсаргов и из «Яйна Латвия» готовы были перегрызть друг другу горло ради того, чтобы захватить иностранные субсидии. Только грубый окрик самих иностранных хозяев заставил их атаманов с ворчанием согласиться на сотрудничество с «Даугавас ванаги» – военизированной фашистской организацией Центрального латышского совета. В результате совместным совещанием главарей был принят план ликвидации Круминыша, предложенный Адольфом Шилде. К тому времени все уже забыли о том, что автором плана был Квэп. По этому плану к смерти приговаривались оба латыша, явившихся с повинной к советским властям, – Эджин Круминыш и Карлис Силс. В действительности убить должны были только первого из них, но в целях конспирации это не было записано в протокол. Ведь если бы к смерти приговорили одного Круминыша, то у советской разведки возник бы законный вопрос: почему пощадили Силса? У организаторов этого дела не возникало сомнения в том, что советские органы безопасности будут все знать. И тогда власти в Советском Союзе стали бы наблюдать за Силсом. А ведь эмиграция возлагала на него надежды. Поэтому непосредственным исполнителям приказ убить Круминыша и не трогать Силса был отдан лишь устно, под строгим секретом.

Но вот прошло уже много времени, покушения на двоих латышей не происходило. После долгой бдительной опеки Круминыша и Силса советские власти сняли охрану. Дело можно было считать сданным в архив.

Кручинин и Грачик

Автор вынужден пойти на риск частично повторить то, что уже было когда-то сказано о Кручине и Грачике. Те, кто уже знаком с Кручининым и его молодым другом Грачиком по описанию их прежней деятельности, могут пропустить эту главу.

Встреча молодого журналиста и музыканта-любителя Грачика с ветераном следственно-розыскной работы Кручининым произошла в обстоятельствах, не имеющих отношения к профессиям обоих. Грачик впервые увидел Кручинина в Доме отдыха, в средней полосе России, куда сам приехал, чтобы на свободе и покое поработать над задуманной большой статьей о Скрябине. Как многие дилетанты, Грачик полагал, что сделает открытие, показав публике влияние Шопена на творчество большого русского композитора и обнажив, с другой стороны, чисто русскую самобытность всего скрябинского наследия. Грачик предполагал показать это на разборе ряда фортепианных произведений Скрябина, начиная с ре-диез-минорного этюда и кончая второй фортепианной сонатой. Эта статья, охватывающая первый период творчества композитора, должна была, по мысли Грачика, открыть целую серию статей, которые потом лягут в основу литературной биографии композитора.

Но Грачик не был исключением среди молодых литераторов. Приехав в Дом отдыха, он так старательно гулял по его живописным окрестностям, вдохновляясь для предстоящей работы образами русской природы, что долго не мог заставить себя сесть за письменный стол. Во время одной из таких вдохновительных прогулок он и увидел Кручинина. Нил Платонович сидел на парусиновом стульчике посреди лужайки, окаймленной веселым хороводом молодых березок. Перед Кручининым стоял мольберт; на мольберте – подрамник с натянутым холстом. У ног Кручинина лежал ящик с тюбиками, выпачканными красками и измятыми так, что нельзя было заподозрить их владельца в бездеятельности. Но палитра Кручинина была чиста и рука с зажатой кистью опущена. Склонивши голову набок, Кручинин приглядывался к березкам, словно они заморозили его и он не мог оторвать от них взгляда прищуренных голубых глаз.

Вот Кручинин стал задумчиво пощипывать свою небольшую бородку, такую же светлую, как и его аккуратно подстриженные усы. Однако, несмотря на их светлую окраску, и в усах, и в бороде уже чувствовался, хоть и едва уловимый, налет седины. Этакая серебристость бывает видна над вершинами зацветающей черемухи, ежели смотреть очень издали на лес весной. Словно серебро только-только сбрызнуло поросль. И даже невозможно еще сказать – седина ли это и пойдет ли она расширяться.

Наблюдая Кручинина на этой лужайке, Грачик не заметил в нем ничего называемого особыми приметами: рост средний, ни худ, ни тучен, физическое развитие хорошее. Ничего бросающегося в глаза, если не считать рук, на которые нельзя было не обратить внимания. Узкая, длинная, но, видимо, сильная кисть с тонкими пальцами – настоящая рука художника.

Быть может, эта деталь бросилась в глаза Грачику лишь потому, что он сам был музыкантом? Возможно, что в наблюдателе менее изысканном эта подробность не возбудила бы интереса.

Грачик долго наблюдал из-за деревьев за Кручининым. Но он так и не дождался, пока тот возьмется за кисти, чтобы воспроизвести березки, на которые столько времени любовался. Вместо того Кручинин сложил мольберт и краски, еще разок пригляделся к сверкающим на солнце белым стволам и ушел.

Любопытство Грачика было возбуждено. Он пошел следом за художником. Отойдя на некоторое расстояние от лужка с березками и выбрав место, совсем не похожее на прежнее, Кручинин расставил мольберт и принялся за работу. Через два часа Грачик обнаружил на хол-

сте очень точно воспроизведенным вовсе не тот пейзаж, перед которым сидел теперь художник, а именно прежние березки.

В следующий раз, когда Грачик увидел, как, придя на лужайку с березками, Кручинин пишет погост, находившийся на расстоянии нескольких километров, к тому же воспроизводит на полотне не яркое утро, когда шла работа, а вечернюю зарю, – Грачик уже не мог удержаться и заговорил. Оказалось, что Кручинин таким своеобразным способом тренирует зрительную память, одновременно получая удовольствие как живописец.

С первых же слов Грачик понял, что и сам он не оставался не замеченным новым знакомым. Наблюдательность Кручинина, напомнившего Грачику несколько обстоятельств из его поведения с самого дня появления в Доме отдыха, поразила Грачика.

Хотя Кручинин и не принадлежал к числу тех, кто встречает людей «по одежке», внешность имела для него большое значение.

– Одежда, – говорил Кручинин, – не просто определяет вкусы своего обладателя, но в известной мере служит отражением его внутреннего мира.

По словам Кручинина, он не раз проверял эту теорию на людях разных положений, профессий и различного внутреннего содержания. Он утверждал, что, основываясь на опыте, может с известным приближением определить по одежде характер и степень умственного развития человека, если, конечно, данная одежда не является случайной. Не было ничего удивительного в том, что в первое суждение о новом знакомом в качестве составной части вошел и костюм Грачика. Кручинин отметил бережное отношение молодого человека к вещам, очевидно, хорошо содержавшимся, хотя и не новым.

Ничто не было упущено Кручининым во внешности Грачика. Крупный нос с легкой горбинкой, большие темно-карие глаза под крутыми бровями, хоть и очень пушистыми, но не портившими общего тонкого абриса лица, – все, казалось, было на месте и создавало приятное впечатление. Нужно добавить еще, что цвет лица Грачика, несмотря на избитость этого образа, нельзя было сравнить ни с чем, кроме кожи спелого абрикоса. При всем этом Кручинину понравилось общее впечатление мужественной энергии, которой дышал облик молодого человека. По-видимому, темперамент, присущий его национальности, находился под надежным замком сильной воли.

Они с первого взгляда понравились друг другу. Знакомство их в отличие от большинства случайных санаторных встреч оказалось прочным и принесло много радости обоим. Правда, сначала Грачику показалось странным, что человек, все склонности которого с юных лет тянули его в Академию художеств, очутился на юридическом факультете и вместо искусства нашел поначалу удовлетворение в судебной работе. Но со временем, узнав Кручинина ближе, Грачик понял, что у Нила Платоновича были основания увлечься в дальнейшем деятельностью оперативно-розыскного работника и криминалиста. Много вечеров провели друзья за беседами о роли и назначении советского следственно-розыскного работника. Грачик приобщился к высокому пониманию долга борца с преступлением, к широкой перспективе работы по оздоровлению общества и охране его от посягательств изнутри и извне. Даже великое искусство музыки представилось ему частностью на фоне чего-то неизмеримо более огромного и действенного, притом насущно необходимого в деле построения нового общества. Этим огромным было искание истины в понимании, придаваемом данному термину Кручининым. Тот утверждал, что отыскание правонарушителя и его поимка – только внешняя сторона профессии. Суть, по его мнению, заключается в том, чтобы вскрыть все: причины и обстоятельства преступления, показать его источники, проследить весь ход психологии правонарушителя и найти действенную меру к предотвращению подобного преступления в будущем. Операция по удалению язвы данного преступления – не самоцель. Эта операция только путь к созданию условий, в которых организм общества может развиваться без помех.

Кручинин долго работал в суде, тщательно изучал положение личности в уголовном процессе, все положительные и отрицательные свойства существующей пенитенциарной системы⁴. Было бы трудно тут, в краткой биографической справке, показать весь ход формирования этого человека. Приходится снова отослать читателя к отчетам о более раннем периоде деятельности Кручинина. Важнее сказать, что глубокая вера Кручинина в полезность своего дела, способность увлечь собеседника общественно-политической перспективой профессии привели к уходу Грачика с пути, на который он стал по окончании университета – с пути музыкального критика, и заставили увлечься еще новой для него, но полной глубокого общественного смысла и романтики борьбой работой Кручинина. Прошли годы. Грачик уже не мог себе и представить, что когда-то стоял на ином пути. Быть может, конечно, не встретить Грачик Кручинина, из него и вышел бы приличный литератор. Любительство в области музыки обеспечило бы его оригинальными темами для деятельности, не лишенной интереса и полезности. Но трудно себе представить, чтобы душевное удовлетворение Грачика могло быть столь же полным где бы то ни было кроме дороги, показанной ему Кручининым. В качестве старшего друга и учителя Кручинин вел Грачика по новому пути до тех пор, пока не понял, что тот достаточно твердо стоит на ногах. Тогда Кручинин стал отходить от практической деятельности, предоставив молодому человеку всю возможную меру самостоятельности, и скромно сошел на роль его советника. Такому отходу способствовало и серьезное ранение, полученное Кручининым при выполнении одной операции. Врачи заставили его выйти в отставку.

Чтобы закончить знакомство читателя с двумя друзьями, остается напомнить: настоящая фамилия Сурена Тиграновича – Грачян, «Грачик» или «Грач» стало его прозвищем с детских лет при обстоятельствах, о которых повторяться нет надобности.

⁴ Система исправительных наказаний преступников.

Дело Эджина Круминьша

Прокурор Латвийской ССР Ян Валдемарович Крауш глянул на листок письма, прибывшего с авиапочтой, да еще с надписью «спешное». В заголовке письма было четко обозначено «частное», а внизу стояло: «Жму твою руку Нил Кручинин».

Увидев подпись, Крауш с интересом прочел письмо. В начале шли упреки в короткой памяти и дурной дружбе, несколько воспоминаний о далеких временах Гражданской войны, два-три имени «ушедших», несколько имен «взошедших». Лишь в самом конце – то, из-за чего и было написано письмо:

«На твоём горизонте появится малый по имени Сурен Тигранович Грачмян. Ты должен помнить его отца, но на всякий случай напоминаю: восемнадцатый год, Волга, “Интернациональный” полк, где командир некий Крауш. (Этот Крауш, вероятно, не забыл председателя ревтрибунала Нила Кручинина, едва не расстрелявшего одного Крауша за преждевременный вывод полка в атаку. Помнится, упомянутого Крауша спасло только то, что беляки бежали.) Ну а затем я помню такую сцену: конфуз Крауша, когда он не мог найти командира для роты китайцев и с места встал высокий худой армянин.

– Простите, я, конечно, командовать ротой не могу, я не военный человек, но помочь командиру могу – я китаист.

– Китаист?.. Что значит “китаист”. Китаец так это – китаец. А не китаец так не китаец... Китаист?!

Эту тираду произнес тогда Крауш. А я как сейчас вижу этого армянина, вижу, как он краснеет до ушей и смущенно объясняет:

– Извините, но я Грачмян, приват-доцент... Учебник китайской грамматики для студентов Лазаревского института.

– Лазаревский институт?.. – пожал плечами Крауш. – Не знаю!..

Тогда этот молодой командир латышских стрелков – товарищ Крауш, – наверно, даже думал, будто это хорошо: не знать, что такое какой-то там “Лазаревский” институт (интересно, что он, латышский стрелок, думает сейчас?).

– Извините, я не хотел вас обидеть, – сказал тогда “китаист” Грачмян, – я могу быть простым переводчиком.

– Сразу бы и сказал! – рассердился Крауш. – Так переведите нам: кого хотят бойцы китайской роты себе в командиры?

И помнишь, как Грачмян, запинаясь от смущения, перевел:

– Они хотят?.. – Он несколько раз переспросил китайцев, прежде чем решился выговорить: – Кажется, они действительно хотят... меня.

Так вот, жизнь снова свела меня с сыном погибшего в Гражданской войне приват-доцента, кавалера ордена Красного Знамени Тиграна Грачмяна. Хотя Сурен мне и не сын в биологическом смысле этого слова, но я считаю его своим вторым “я” и физическим продолжением этого “я” на будущие времена – те лучшие времена, которых нам с тобой не увидеть. Хотя именно мы-то, пожалуй, и вложили в них все, что имели. Одним словом, если Грачмян – он же Грач, он же Грачик – появится у тебя с делом о самоубийстве Ванды Твардовской, из-за которого полетел в туманную Прибалтику, возьми его под личный строжайший контроль и руководство. Я помню кое-кого из твоих работников – опытные, верные люди. Они многое смогут дать моему Грачу. Хочу, чтобы из него вышел настоящий человек нашей профессии.

Отмою свои старые кости и снова за работу! (Кстати: предложили интереснейшую работу. На этот раз в прокуратуре Союза.) А пока вручаю твоему опыту и бдительному оку молодую, но уже не лишённую хорошего опыта особу Грачика».

Если бы не это письмо, Краушу, быть может, и не пришлось бы в голову задержать в Риге приехавшего по московской командировке Грачика. Дело о покушении на самоубийство Ванды Твардовской прокурор мог бы передать и своим работникам. Но дело задержалось из-за невозможности снять с нее допрос. Родителей Ванды в Латвии не оказалось. К тому же Ян Валдемарович с самого начала ознакомления с делом Твардовской принял решение о приобщении его к делу Круминыша. На это у прокурора были свои соображения. При кажущейся флегматичности Крауш почти всегда, когда сталкивался с необычным делом, загорался огоньком личного интереса к нему. Не будь он так занят большой государственной работой, он, вероятно, и не удержался бы иногда от искушения самому броситься в гущу следовательской работы. Руки чесались прикоснуться к живой жизни, от которой его теперь отгородили стены нарядного кабинета. При столкновении с тем или иным поворотом интересного дела Крауш всегда испытывал сильное возбуждение, которое, впрочем, умудрялся тщательно скрывать под внешностью официальной строгости. Его ум приходил в энергическое движение. Крауш начинал думать за своих подчиненных. Силою логики, подкрепленной многолетним опытом и интуицией, он приходил к выводам, очень часто предугадывавшим результат кропотливой работы подчиненных.

Проанализировав первые же данные по делам Круминыша и Ванды Твардовской, Крауш посоветовался с Комитетом государственной безопасности. Он чувал здесь кое-что не только связывавшее эти дела, но и выводившее их из ряда обычной уголовщины. Оценив сложность дела и посетовав на загруженность своего аппарата, Крауш после письма Кручинина окончательно решил, что самым разумным будет не отпускать Грачика в Москву, а именно ему и поручить ведение этого дела под его, Крауша, собственным наблюдением. Так будет лучше всего!

То, что холод и пасмурное небо то и дело разгоняли курортников с пляжа, не смущало Грачика. Молодость не боится капризов климата и смены температур. Сушь и ковыльное при-волье степи ей так же милы и полезны, как сумрачная прохлада лесов или бурная влажность взморья; пальмы Сухуми или сосны Карелии – не все ли равно? Лишь бы было красиво, привольно и весело.

Грачик рассчитывал, что как только закончится дело Ванды Твардовской, ему удастся и покататься, и погреться на Рижском взморье. Поездка в Прибалтику была запланирована давно, когда в нее собирался еще и Кручинин. Был подготовлен к путешествию новенький автомобиль Нила Платоновича, была даже приобретена в складчину разборная байдарка. На ней друзья собирались совершать экскурсии по озерам Эстонии и Латвии.

Прилетев в Ригу для расследования дела Ванды Твардовской, Грачик относился к пребыванию здесь, как к антракту перед увлекательным путешествием на «Победе», лишь только ее сюда перегонят и приедет Кручинин. Но тут Ян Валдемарович Крауш предложил Грачику заняться делом Круминыша. Грачик попробовал сослаться на то, что в таком деле рижским товарищам и книги в руки, но прокурор довольно решительно заявил, правда, не глядя на Грачика:

– Народ у меня сейчас очень загружен, сами знаете: нужно пересмотреть тысячи дел. Ваш приезд весьма кстати. К тому же, – скупая улыбка, мало свойственная обычно суровому прокурору, пробежала по его лицу, – по аналогии: там самоубийство, тут самоубийство.

– Это лишь на папке значится «самоубийство», – возразил Грачик, – а на самом деле Ванда Твардовская...

– Вот, вот, – перебил его прокурор, – тут, по-моему, тоже только «на папке»... И, кроме того, у меня есть свои причины свести эти дела в одно. Когда придет время, я вам скажу почему.

Серьезность дела Грачик понял сразу, как только Крауш рассказал ему предысторию. Заклучалась она в том, что вскоре после снятия охраны с двух латышей Круминыш исчез.

Соседи Круминыша показали, что он ушел в сопровождении офицера милиции и какого-то штатского и больше не вернулся. Вскоре после этого по городку С. пополз слух о том, что-де, несмотря на добровольную явку Круминыша советским властям, невзирая на его раскаяние и прощение, его все-таки арестовали.

Следует заметить, что с момента появления в С. Круминыш и Силс не были предоставлены себе. Профсоюзная организация бумажного комбината, на котором они работали, настойчиво вовлекала их в общественную деятельность. Товарищи справедливо считали, что приобщение реэмигрантов к полнокровной жизни народа – залог их перевоспитания. То, что Круминыш был снова арестован, показалось рабочим несовместимым не только с его собственной реабилитацией, но и с той работой, какая была поручена молодежи завода: сделать Круминыша и Силса полноценными и полноправными членами заводского коллектива.

Силс был подавлен арестом своего бывшего напарника и не решался произнести ни слова протеста. Но молодежь завода была настроена иначе. Она хотела иметь ясное объяснение неожиданному повороту в судьбе Круминыша. Запрос в Ригу – и все стало ясно: никто и не думал арестовывать Круминыша. Он сделался объектом провокационного акта врагов. Очевидно, целью провокации было разбить впечатление, какое патристический поступок Круминыша и Силса произвел на умы «перемещенных» за рубежом. Быстро принятые меры не помогли найти ни исчезнувшего Круминыша, ни следов преступления. «Арестованный» Круминыш вместе с «арестовавшими» его людьми словно в воду канул. Лишь случайно участниками молодежной экскурсии на острове в протоке Лиелупе близ озера Бабите было обнаружено тело Круминыша.

В кармане Круминыша нашли письмо:

«Мои бывшие товарищи, я был прощен народом и принят в ваши ряды после самого страшного, что может совершить человек, – после измены Родине, после попытки нанести ей вред по указке иноземных врагов. Я с радостью и благодарностью принял великую милость моего народа. Я думал, что одного этого уже достаточно, чтобы стать его верным сыном. Но произошла случайность – меня арестовали. И, вероятно, яд вражеской пропаганды слишком глубоко проник в мой мозг, всплыло все, чему меня учили во вражеской школе шпионажа. Я возненавидел шедшего рядом со мною офицера.

Наверно, все скоро разъяснилось бы, и я спокойно пришел бы домой. Но я понял это только теперь. Мне стыдно и страшно говорить теперь о том, что случилось. Я убил конвоира из его же оружия. Тело его спрятано мною, потому что я вообразил, будто смогу бежать, спастись...

Слишком поздно, чтобы идти со второй повинной. От вторичной вины мне некуда уйти. Передайте предостережение Силсу: никогда не сходить с пути советского человека. Что бы ни случилось, какими бы неожиданными и неприятными ни показались ему действия советских властей, – не давать в себе воскреснуть тому, что нам пытались вдолбить враги. Пусть Силс верит: советский народ и его власть никогда не совершат ничего, что шло бы вразрез с интересами нашей Родины. Они не допустят никакой несправедливости в отношении простого латыша – сына своей земли.

Целую святую землю отцов, прощаюсь с вами. Не смею назвать вас ни друзьями, ни согражданами. Прощайте и простите. Таков заслуженный конец. Кто дал себя обмануть врагам, кто влез в их отвратительную паутину, – должен погибнуть. Эджин Круминыш».

Мимо острова, Северной протокой реки Лиелупе, лежал торный путь охотников к озеру Бабите. Выдавшийся в слияние протоки и главного русла реки обрывистый берег был излюбленным местом праздничных прогулок рабочей молодежи бумажного комбината. Но с тех пор, как это случилось с Круминышем, охотники стали держаться на своих моторках подальше от берега, а молодежь сменила для экскурсий Северную протоку на Южную. В Южной протоке

не было таких красивых высоких берегов, ни густого соснового бора, но бывшие товарищи Круминыша предпочитали песчаную полосу, отгороженную от воды всего лишь стеной камышей, чем постоянно иметь перед глазами лес, где они были свидетелями финала непонятной им драмы. А о том, что случившееся было им непонятно от начала до конца, свидетельствовали толки, не затихавшие далеко за пределами комбината. Но особенно острые, изобилующие недоуменными вопросами разговоры велись среди фабричной молодежи. И самым недоуменным, самым острым, не получившим удовлетворительного ответа от старших товарищей, был вопрос: может ли в наше время, в нашей стране советский человек, притом молодой человек, покончить с собой? Существуют ли обстоятельства, способные толкнуть на такой поступок?

Вывод сводился к тому, что заставить кого-либо из них, и даже такого их сверстника, каким был Круминыш, добровольно накинуть на себя петлю, – нельзя. Если это случилось, то виноват в этом не он, а кто-то другой. Кто? Виновного молва искала недолго. Все чаще мелькало имя Мартына Залиня, все больше пальцев показывало в его сторону. И, как говорит старинная пословица, глас народа, по-видимому, действительно является гласом Божьим, то есть голосом правды: мнение рабочей общественности сошлось с мнением властей – Мартына вызвали к следователю. Нашлось много желающих показать то, что было широко известно на комбинате и в рабочем поселке: ненависть Мартына к Круминышу, его угрозы разделаться со счастливым соперником, его прошлое беспризорника с несколькими приводами – все, что могло служить косвенными уликами в обвинении убийцы. Единственным из друзей Круминыша, кто не выказал желания идти к следователю, был Силс. Но его свидетельство едва ли и было нужно после того, как Луиза решилась высказать следователю те же соображения, какие волновали остальных. Она подробнее других могла рассказать о случившемся у костра на берегу Лиелупе в ночь на Ивана Купала, и ей... да, ей совсем не было жалко Мартына.

Епископ Ланцанс

– Он работает в очень трудном районе, где нет стоящего католического прихода, почти нет католиков! Можно подумать, что вы об этом забыли! – Шилде заявил это, даже не прибавив обычного титулования, какого требовало обращение к особе столь высокого сана, как епископ.

Епископ взглянул на Шилде подчеркнуто удивленно.

– Что значит «стоящий» приход? Разве вам известны не «стоящие» приходы?

С того момента, как они очутились одни, Шилде утратил всякую почтительность. Ланцансу начинало казаться, что он напрасно оставил Шилде после совещания для приватной беседы. Видимо, не зря пробст Сандерс предостерегал епископа от излишне благосклонного отношения к этому человеку. Да, видно, это уж не прежний Шилде. «Эта свинья из тех, – сказал Сандерс о Шилде, – что способна слопать собственных поросят, если у нее разыграется аппетит. Шилде пальца в рот не кладите – откусит руку».

Ну что же, тем хуже для Шилде. Для мелкоты из «Перконкруста» – он «недосягаемый», а епископ видывал на своем пути зверей и посильнее. Скоро, бог даст, заграничная помощь для эмиграции будет притекать через кассу святого престола, а значит, и через его, Ланцанса, руки. Придется тогда Шилде посидеть на урезанном пайке!

Ланцанс спрятал свои беспокойные руки под нарамник. Он знал за собой эту неудобную особенность: подвижность рук. Иногда они положительно мешали ему, нарушая облик невозмутимого спокойствия, какой Ланцанс старался себе придать. Еще в новициате Ланцанс усвоил себе значение внешности для члена такого Ордена, как «Общество Иисуса»⁵. Всю жизнь он боролся со своими нервными руками, проявлявшими тем большую подвижность, чем меньше она была к месту. Вот и сейчас ему хотелось бы ошеломить Шилде холодностью, мертвенным спокойствием, а руки сами тянулись к чему-нибудь, что можно было вертеть, тереть. Под нарамником пальцы шевелились так, словно там скрывалась целая клавиатура. Ланцанс вытащил руки из-под пелерины и сердито засунул их за шелковую ленту, перепоясывавшую его крупную фигуру по животу. Ему хотелось сдержать свое раздражение против Шилде. Как-никак, самые крепкие нити к тем немногим, кто еще согласен работать на сомнительном поприще эмигрантской разведки, находятся в руках Шилде... Нужно поскорее найти подходящего человека в собственном Совете, кто мог бы взять их в свои руки... Кто бы это мог быть?.. Полковник Вальдемар Скайстлаук?.. Стар! Ему бы время на свалку, если бы так уж не повелось, что каждая эмигрантская организация должна иметь в руководстве парочку полковников. К сожалению, господа военные, вместо того чтобы объединить свои силы, только и знают, что подсиживать друг друга. Полковник Скайстлаук из «Латвийского совета» не выносит полковника Янумса из «Латышского совета». А Вилис Янумс слышать не может о полковнике Лобе...

О, Лобе!.. Вот фамилия, которая кстати всплыла в памяти Ланцанса! Лобе прошел нужную школу. След споротых петлиц «СС» сильно поднимает теперь цену человека...

Ланцанс поймал себя на том, что мысли его ушли в сторону от того, что говорит Шилде... Нужно все-таки послушать этого субъекта... А, господин Шилде занят тем, что набивает цену себе и своему агенту, действующему в Латвии! Расписывает трудности, с какими встречается человек, работающий в «советском тылу»...

Слово «тыл» по-прежнему, как во время войны, употреблялось в обиходе эмигрантских гварей. Они не хотели признать войну оконченной. Для них «фронт» не закрывался. На нем никогда не затихала война. Больше того: она еще никогда не велась с таким ожесточением, как сейчас. Никогда еще не пускалось в ход столько средств для поддержания огня по всей

⁵ «Обществом Иисуса» Игнатий Лойола назвал основанный им Орден иезуитов.

линии: шпионажа, диверсий, террора – всех видов многообразной и сложной тайной войны во время мира.

– Можно подумать, будто вы забыли: перед лицом общей опасности исчезают разногласия в рядах воинов за святое дело, – внушительно произнес Ланцанс. – Лютеранский священник протянет руку католику. Неужели не нашлось бы православного попа, который пришел бы ему на помощь? Да, сын мой! – Ланцанс нарочно назвал так своего собеседника, хотя Шилде не только не был католиком, но вообще не верил ни в бога, ни в черта. А сказал это епископ потому, что не хотел называть гостя слишком уважительным – «господин Шилде». Скажи же он просто «Шилде», это могло быть принято за излишнюю дружественность или враждебность, в зависимости от уровня сообразительности собеседника. – Да, сын мой, – повторил он, – слугитель Христа, соответственно настроенный в политическом смысле, независимо от вероисповедания, – наш друг. Значит, он и друг вашего человека.

Тут епископ потянулся через стол и овладел пепельницей, в которую Шилде за короткий срок успел воткнуть несколько окурков. Ланцанс не выносил табачного дыма. Но почему именно этому развязному Шилде он стеснялся об этом сказать, как говорил всякому другому собеседнику? Епископу пришло в голову, что, вероятно, потому он терпит вокруг себя клубы этого отвратительного дыма, что боится: Шилде способен ответить на его замечание грубостью. Уж лучше помучиться, чем ставить себя в фальшивое положение. Господи, Боже, у кого это он вычитал: «Через фальшивые положения проходят; в них никогда не остаются!..» А кто-то возражал: «Из фальшивых положений не выходят. Из них нельзя выйти!..» Что же верно? А верно то, что Шилде грубиян. Нельзя епископу ставить себя в неловкое положение перед грубияном...

Однако Шилде, кажется, не понял, почему епископ отодвинул от него пепельницу. Как ни в чем не бывало, он снова закурил со словами:

– Мой человек, там, все понимает не хуже нас с вами, Ланцанс...

– «Господин Ланцанс» или «ваше преосвященство», как вам удобней, – сдержанно поправил его епископ.

– Если вам угодно, то я готов именовать вас даже святейшеством, – с издевкой ответил Шилде.

– Я не думал, Шилде, что вы так не уважаете церковь... Когда-нибудь, когда наступит час вашего последнего отчета Всевышнему, вы поймете свою ошибку... – И Ланцанс закончил как мог более внушительно: – Обращаясь ко мне, вы обращаетесь к церкви, Шилде.

– Хотя бы к самому Господу Богу. Мне все равно, – пробормотал Шилде.

– Вернемся к нашей теме, – подавляя гнев, с наружным смирением проговорил епископ. – Итак, прошу вас исходить из единства стремлений всех благонамеренных священнослужителей, независимо от принадлежности к тому или иному исповеданию.

– Обстоятельства работы, какую ведут мои люди за кордоном, своеобразны и трудны. Вы их не знаете...

– С помощью Господней, мы знаем всё, мой дорогой Шилде, – отдельно проговорил Ланцанс, особенно нажимая на слово «всё». – Церковь, властью, дарованной ей Царем Небесным и доверенной ей царями земными, приходит на помощь всем, кто служит делу борьбы с коммунизмом... Мы знаем больше, чем может постичь погрязший в суеде и юдоли слабый ум человеческий... Я просил вас остаться тут, чтобы спросить, вполне ли благополучно закончилось дело с наказанием Круминьша?

– С ним покончено. Дело за тем, чтобы спасти моего человека, выполнявшего эту карательную операцию.

– Да, да, ваш человек совершил благо и имеет право на христианскую помощь.

– Мне наплевать, на что он имеет право, – опять сгрубил Шилде. – Мы, например, имеем право на соблюдение тайны этого дела, а она будет разоблачена, если мой человек провалится. С ним провалится и Силс.

– Но может ли церковь помочь?.. Видите ли, Шилде... – Ланцанс придвинулся к собеседнику и осторожно, как будто даже немного брезгливо прикоснулся одним пальцем к его рукаву. – Наши позиции в советском тылу значительно менее прочны, чем позиции лютеран. Святая воинственность нашей церкви – там не в нашу пользу... – Епископ сделал паузу. – Но с помощью Божьей не идем ли мы все к общей цели?

– Вы хотите, чтобы все лили воду именно на вашу мельницу, пока вы... идете к «общей» цели... А придете к ней вы одни?..

– Мельница Господня приемлет все струи.

– Даже самые мутные.

– Шилде!

– ...Так... – протянул Шилде и задумался. – Значит, вы хотите, чтобы мой человек не прибегал к помощи ваших людей. И он не сможет найти приют, скажем, в обители Сердца Иисусова.

– Вы имеете в виду Аглоне?! – с испугом спросил Ланцанс. – Господь с вами! Это значило бы поставить под угрозу нашу последнюю крепость. Единственный на всю Латгалию, и даже на всю Латвию, рассадник веры...

– Так что же вы предлагаете? – сердито крикнул Шилде. – Я должен, наконец, знать, где мой человек может искать убежища?!

– Я посоветуюсь с пробстом Сандерсом и скажу вам, Шилде. – Но, подумав, Ланцанс словно бы спохватился: – Однако позвольте: почему вы так настаиваете на том, что убежище должно быть предоставлено именно духовным лицом?

– Я не говорю «непременно убежище». Но – помощь, кое-какая помощь, не опасная для ваших людей.

– Да, да, я понимаю, но почему именно со стороны церкви? Где ваши люди? Ваши подпольные ячейки? Разве не они фигурируют в отчетах, когда вас спрашивают, куда идут деньги? – Епископу казалось, что тут-то он и поддел этого самонадеянного нахала. Ведь Шилде уверял всех и вся, что располагает в Советской Латвии хорошо развитой сетью надежно законспирированных опорных пунктов боевого подполья. А на деле – все дутое, все чистое очко-втирательство, все ложь, ложь, ложь! Делая вид, будто говорит сам с собой, он стал шептать, но так, чтобы было слышно гостю. – Господи, Боже, где же конец этой гнусной погоне за деньгами под всеми предлогами, под всяческими соусами, во всех размерах – от жалкого цента до миллиона?! Господи, Боже, неужели даже в таком угодном Богу деле, как борьба с коммунизмом, не может быть чистых намерений, неужели даже на убийство врага церкви нельзя идти с руками, не скрюченными от жажды злата?! Господи, Господи, за что наказуешь ты раба Твоего познанием темных глубин души человеческой, такой сатанинской низости стяжательства в деле святом, в деле ангельском, в деле, осененном благословением распятого и непорочной улыбкой девственнородившей!..

Именно потому, что Ланцанс хорошо помнил о присутствии Шилде, думал только о нем и все, что делал, делал только для него, он порывисто поднялся со своего места и с фанатически расширенным взглядом устремился в темный угол, где на фоне распятия из черного дерева светилось серебряное тело Иисуса. Шилде отчетливо слышал, как стукнули о пол колени епископа. Но «недосягаемого» не легко было пронять подобным спектаклем. Он иронически глядел на спину Ланцанса, припавшего лбом к аналою. Правда, брови Шилде несколько приподнялись, когда он увидел, как дергаются плечи епископа: «недосягаемый» не мог понять, действительно рыдает Ланцанс или просто разыгрывает этот религиозный экстаз ради гостя.

Наконец Ланцанс поднялся с колен и медленно, усталым шагом вернулся к своему креслу. По лицу его не было заметно, чтобы молитва оказала на него умиротворяющее или, наоборот, волнующее действие, – оно оставалось таким же каменно-равнодушным, каким было, разве только несколько покраснело от усилия, какое епископу пришлось сделать, поднимаясь с колен. По-видимому, переход от молитвенного настроения к суете дел земных был для епископа не очень сложен. Он желчно спросил:

– Неужели вы никогда не кончите отравлять воздух папиросами?

Шилде усмехнулся, придавил сигарету в пепельнице и, сдерживая усмешку на губах, сказал:

– Молитва вас просветлила, и вам легче понять истинную цену этому, с позволения сказать, липовому «подполью», на которое вы предлагаете мне опираться, черт бы его драл!

– Шилде?! – с испугом, на этот раз искренним, воскликнул Ланцанс.

– Помощь в «операции Круминыша», так удачно начатой моими людьми, должна прийти со стороны церкви! – настойчиво повторил Шилде. – Иначе... – Он сделал паузу и с особенным удовольствием договорил: – Иначе грош ей цена.

– Замолчите, Шилде! – воскликнул Ланцанс и поднялся с кресла с рукою, гневно протянутой к собеседнику.

– Мы тут одни.

– Но я не хочу вас слушать!

– А я все-таки скажу: прошу не тянуть с решением вопроса: кто может оказать реальную помощь нашему эмиссару за кордоном? – Каждое из этих слов Шилде сопровождал ударом руки по столу.

– Вы не считаете операцию законченной?

– Когда требуется помощь от вас, то вы готовы ограничиться убийством одного труса?..

Епископ укоризненно покачал головой:

– Господь жестоко покарает вас за ваш грешный и грубый язык.

– Приходится называть вещи своими именами. Вам хотелось бы уйти теперь от необходимости действовать? Но мы вас заставим довести дело до конца: мой человек должен быть спасен для дальнейшей работы в советском тылу!

– От чьего имени вы так говорите?

В злом шепоте епископа было не только негодование, но и нескрываемая угроза: вот-вот последует буря обличения или прямое проклятие и плохо придется тогда Шилде! Но на того это, по-видимому, мало действовало. Шилде знал, что на этот раз сила на его стороне. Он, если захочет, может взять угрожающий тон даже по отношению к самому Ланцансу! Поэтому он уверенно ответил:

– Я говорю от имени «Перконкруста», от имени руководства Совета. То есть от вашего собственного, господин Язеп Ланцанс. Делить выгоды умеете, так извольте и похлопотать.

– Какой грубиян!.. Ах, какой грубиян!.. – бормотал Ланцанс.

– Ежели вам нечего вложить в дело, какого же черта вы лезли в компанию! Мы дали своих людей. Двое из них нуждаются в панихидах, третий шныряет там, как затравленный волк. Ему уже наступают на хвост. Не сегодня – завтра он – в западне. От этого никто из нас не выиграет – ни мы, ни вы...

– Грубиян, грубиян... – повторил епископ, покачивая головой. Прервав довольно долгое молчание, он наконец сказал: – После моей встречи с пробстом вы получите ответ.

– Я и сам могу спросить пробста. Мы с ним старые приятели.

Ланцанс прикрыл глаза веками. Можно было подумать, что он очень утомлен.

– По его отзывам о вас я не заметил, чтобы вы были друзьями, – проговорил он, не открывая глаз.

Шилде насторожился.

– Что вы хотите сказать?

– Да простит мне Бог, но не дальше как вчера преподобный Сандерс предупредил меня: «Эта свинья Шилде...»

Настала очередь Шилде выказать возмущение:

– Это уж слишком!

– Я хотел, чтобы вы знали... – со смирением змеи ответил Ланцанс.

Шилде рассмеялся.

– Если вы думаете, что пустить между друзьями черную кошку – благое дело, то позвольте и мне открыть пробсту глаза на вашу дружбу с ним.

– Вы не слышали от меня ни одного дурного слова о преподобном Сандерсе.

– Зато знаю, что, если бы не мои ребята из «Перконкруста», имя преподобного Висвалдиса Сандерса давно было бы высечено на могильной плите. – Шилде придвинулся к епископу так, что его губы едва не касались лица собеседника. Тон его стал угрожающим: – Или вы забыли, как еще в Латвии пустили полицию по следам Сандерса?

– Перестаньте! – крикнул епископ, сразу утрачивая спокойствие. Даже голос его сорвался на испуганный фальцет. – Нечего вам совать нос не в свое дело.

– Вам не хочется видеть мой нос в куче мусора, на которой сидите вы? Но наш общий коллега по Совету господин Мутулис может в случае надобности подтвердить все, что я скажу о вас пробсту. Так что вам незачем особенно важничать передо мною, Ланцанс!.. Однако давайте действительно закончим: если советские власти докопаются там до моего человека, придется перестраивать всю работу и отказаться от дальнейших услуг Силса. Это вы понимаете?.. Так помогите же нам!

Адольф Шилде

Служка без стука вошел в комнату и, скользя по полу, как угодливый кот, приблизился к епископу. В руке служки был поднос. На подносе – рюмка с водой и маленький флакон. Епископ тщательно отсчитал капли гомеопатического лекарства и выпил.

Шилде разбирал смех: тонкие губы епископа благоговейно шептали: «Раз... два... три...» Бледные пальцы, как лапа коршуна, цепко держали крошечный флакончик. – «Недостает только, чтобы он перекрестил это снадобье», – подумал Шилде.

Служка стоял неподвижно, с опущенными к полу глазами. Когда рюмка была возвращена на поднос, служка вышел так же бесшумно, как появился.

– Итак, мой дорогой Шилде, – проговорил Ланцанс, – вы сказали, что второй из тех людей нам еще пригодится?

– Да.

– Несмотря на явку с повинной?

– Явка только маскировка. Она облегчает его положение.

– Да, да, помню... Вы умница, Шилде. Господь да хранит вас! Но... что дает вам уверенность в преданности этого Силса? Можно ли положиться на его честь?

– Честь? – Усмешка скользнула по губам Шилде. – Мне странно слышать это слово, когда речь идет о таких, как Силс, и в приложении к такой работе. Я держу их деньгами и страхом. Вот верные карты в моей колоде.

– Страх? – недоверчиво переспросил Ланцанс.

– И деньги! Я сказал: и деньги!

– Плохая карта, Шилде, совсем плохая. – Епископ пренебрежительно махнул рукой. – Всегда может найтись козырь постарше.

– Мы играем золотыми тузами.

Ланцанс рассмеялся:

– Творец вложил в человека неустойчивую душу: если смогли соблазнить ее вы – могут соблазнить и другие. – Он наставительно поднял палец, словно говорил с исповедником. – Плоть слаба, и соблазн силен.

– Мне посчастливилось слышать эту сентенцию из уст самого Сатаны... В опере!

– Вот как?! Вы, оказывается, любите музыку.

С этими словами епископ подошел к стоявшей наискосок от окна раскрытой фисгармонии. Не глядя, привычным движением опустил пальцы на клавиатуру. На мгновение закрыв глаза, задумался. Звуки тягучего псалма, мерно раскачиваясь, поплыли на волнах табачного дыма, выпускаемого Шилде. Некоторое время Шилде в такт музыке покачивал носком ноги. Выражение его лица обнаруживало напряжение мысли. Ланцанс, по-видимому, только еще входил во вкус игры, когда Шилде замахал руками и воскликнул:

– Не то, не то... Совсем не то! Там, в опере, с этим чертом в красном, была совсем иная музыка.

Ланцанс с обиженным видом, не снимая рук с клавиатуры, ждал, когда Шилде перестанет ему мешать. А тот делал попытку вспомнить мотив, но так и не сумев его воспроизвести, напустил на себя важность и задумчиво проговорил:

– Да, в жизни бывают периоды, когда музыка приходится к стати. Я слышал, будто какой-то пианист или композитор именно через музыку пришел в лоно церкви, стал монахом. Вот только забыл, как его звали. Зато я помню его музыку. Тра-та-та-та-та!.. Тра-та! Тра-та! – Шилде повторил несколько тактов из известной шансонетки, распевавшейся в рижских шантанах.

Ланцанс грустно улыбнулся и покачал головой:

– У вас, конечно, отличный слух, просто прекрасный слух, но это совсем не Лист. – Он взял несколько аккордов.

– Вот-вот! Это самое! – оживился Шилде: – Тра-та-та-та! Словно лихой танцор отбивает каблуками... В молодости я любил потанцевать. Ну а потом... потом уж только и осталось: танцовщицы из Альгамбры... Ах, какие там были девчонки! Из-за одной такой я... Впрочем, моя биография вас не интересует.

– Напротив, Шилде, напротив. Святая церковь учит нас интересоваться всем, что касается друзей. И мы, например, хорошо знаем соблазнительницу, толкнувшую вас тогда на нарушение заповеди Господней «Не укради». Помним и то, что было потом. – При этих словах епископ лукаво усмехнулся. – Да, у церкви хорошая память, господин Шилде. При случае мы о многом можем напомнить тем, кто слишком кичится своей безгрешностью. Но, когда нужно, мы умеем и многое забыть... – И многозначительно добавил: – Если это нужно нашим друзьям... Однако я хотел спросить: что, по-вашему, интересует этого... Силса?

– Какое мне дело до интересов всякого прохвоста?

– А как же вы надеетесь держать его в руках? Я уже сказал: не всегда это надежно... Страх?.. Ведь Силса могут и оградить от ваших угроз. Что ж у вас останется? Чем вы заставите его повиноваться? Где кнут, волею Божьей вложенный в вашу десницу, чтобы управлять доверенными вам душами.

– Бог отпустил моей братии довольно темные души, – пробормотал Шилде.

– Господь ведает, что творит. Каждому отпущено то, что следует. Не нам испытывать его мудрость. – Ланцанс на мгновение молитвенно поднял глаза к потолку и опустил в кресло. – Я хочу дать вам совет... Не смотрите на меня так: опыт святой католической церкви измеряется двадцатью веками. – Он улыбнулся. – Это, кажется, немного больше опыта даже такого опытного организатора, как вы... Рядом со страхом и деньгами – силами временными и переходящими – существуют вечные силы... Вы вот упомянули о том не новом открытии, которое оперный сатана преподнес вам, а забыли, что случилось с Фаустом. Вы забыли о страсти более сильной, чем страх и золото.

– Такой страсти не существует.

– А любовь, сын мой? Греховное стремление людей друг к другу? Только мы, убившие плоть свою во имя Господне, не знаем над собою власти страстей, не подчиняемся земной любви. Но опыт говорит нам, что, начиная с грехопадения Адама, любовь царит надо всем, что есть живого на земле... Кроме нас, кроме нас! – поспешно добавил епископ. – Эта страсть ведет человечество к мнимому счастью и к бедам, к процветанию царств и к гибели империй.

– Зачем этот устаревший трактат о любви, епископ?

– Затем, друг мой, что в вашей деятельности нельзя забывать: в сердцах людей любви отведено значительное место.

– Человек человеку рознь!

– И все же, по воле создавшего нас, я не знаю такого сердца, для которого хотя бы раз в жизни не пел соловей. И если вы не принимаете в расчет земные привязанности своих людей – вы профан. И заранее можно предсказать вам проигрыш.

– Мои люди не таковы!

– Неправда, девять из десяти ваших агентов такие же, как все другие: из плоти и крови. Вы дурной организатор, Шилде, если не учли этих пут среди средств, которые провидение дало вам, чтобы связать Силса. Денег больше, чем вы, могут дать Советы...

– Они скупы.

– Только там, где надо, Шилде.

– Они не овладевают душами!

– При помощи денег, да. Но у них есть какие-то другие средства. Овладели же они душою Круминыша, не дав ему ни гроша. Да разве одного Круминыша?! А те сотни тысяч, миллионы латышей, что идут под их знаменами?

Шилде слушал епископа, и взгляд его делался все мрачнее, все больше морщился лоб и сердитым становилась лицо.

– Чего же вы от меня хотите? – спросил он.

– Помочь вам взять в руки Силса. Я хочу, – как мог отчетливей, отделяя слово от слова, внушительно говорил епископ, – чтобы вы заинтересовались привязанностями Силса.

– У меня нет возможности установить слежку за любовными похождениями этого мальчишки. Один-двое калек, которые могут мне там кое-как служить, не поспеют за этим молодцом, когда он начнет бегать по девчонкам...

Епископ остановил его, подняв руку.

– Не то, не то! – Он брезгливо поморщился. – Конечно, проследить за интимными связями Силса был бы смысл. Среди них может оказаться и такая, которую вы сумеете использовать хотя бы для наблюдения за ним. Но на этот раз я имел в виду иное: вы должны заняться связями Силса здесь, у нас.

Шилде рассмеялся:

– Какие же связи могли у него сохраниться тут в эмиграции? Женат он не был, детей не имел. Не думаете же вы, будто он сохранил какую-нибудь, с позволения сказать, «любовь».

– Именно это я и думаю, друг мой.

– Вы смешите меня, епископ. Силс больше года хранит верность какой-нибудь девчонке здесь?!

– Значит, Шилде, – все строже говорил епископ, – вы знаете меньше, чем должны знать... У Силса здесь есть привязанность. И очень крепкая привязанность... Это и есть тот козырь, который я вам дам, чтобы вы могли перекрыть все советские карты. – По мере того как епископ говорил, голос его делался все тише и сам он все ближе подвигался к Шилде. И даже руки его, перестав шарить по пуговицам сутаны, протянулись к собеседнику, словно что-то передавая: – Возьмите эту карту, спрячьте ее, держите крепче. Если Силс узнает, что вы в любой момент можете ее просто уничтожить, а то еще... иначе использовать, скажем... взять себе в прислуги... – Епископ, прищурившись, посмотрел Шилде в глаза. – Вот Квэп, например, любил, чтобы горничные взбивали ему подушку... Она молода и хороша собой, эта... Силсова Инга.

Епископ интригуяюще умолк. Шилде с живым интересом спросил:

– Вы действительно ее знаете?

Вместо ответа епископ не спеша проговорил:

– Поймайте ее, возьмите ее, и Силс станет мягок как воск.

– Как ее зовут?

После некоторого колебания епископ сказал:

– Инга Селга!.. Должен сознаться: приказ уничтожить Круминыша представляется мне теперь ошибкой. Да, грубая ошибка – результат вашей плохой работы. Если бы я в то время знал, что в моей канцелярии служит возлюбленная Круминыша – некая Вилма Клинт, я ни за что не согласился бы его убрать. При помощи этой Клинт мы взяли бы Круминыша в тиски. Он пошел бы для нас в преисподнюю. О, он еще послужил бы нам! – Епископ насмешливо поглядел на Шилде: – Если бы наша разведка работала как следует... Это вы, мой дорогой Шилде, виноваты в том, что мы так примитивно разделились с Круминышем и потеряли в нем отлично законспирированного человека в советском тылу.

– Теперь не стоит препираться по этому поводу! – примирительно сказал Шилде и тяжело поднялся с кресла.

– Ну что же, мир вам, сын мой, грядите со Господом, – ответил епископ.

При этих словах его рука по привычке сложилась для благословения, но Шилде, словно не замечая этого движения, простился рассеянным кивком головы и пошел к двери.

Мысли его бежали теперь так же быстро, как и в начале встречи: трудная лиса этот Ланцанс! Что может крыться за сообщением об Инге Селга? Действительно ли иезуит подкинул ему козырь, имея в виду интересы дела, или?.. Ох, трудная лиса!.. Как бы не оказалась крапленой эта «козырная» карта. Шилде не должен забывать, что не сегодня – завтра может случиться большая беда: Ланцанс приберет к рукам все дела латышской эмиграции. Но что такое дела? Разве суть в делах?! Тот, кто знает епископа, понимает: перво-наперво он заграбастает денежки, отпускаемые иностранцами. Вот это будет настоящая беда!..

Эта мысль заставила Шилде остановиться, как будто собственные шаги мешали движению его мыслей.

«Ну что же, – думал он, – если дело повернется таким образом, то придется выбирать: самому переходить на сторону Ланцанса или дать кое-кому одно щекотливое... очень щекотливое поручение! Черная ворона слишком раскаркалась!.. Как будто стала тут настоящей хозяйкой... Посмотрим, посмотрим!.. А пока что нужно все-таки позаботиться о том, чтобы исполнитель «операции Круминыша» не попал в руки советских властей. И насчет Силса тоже следует подумать. Парень он крепкий, но надо найти ему такую область применения, чтобы его не застукали в первый же день. Следует подольше подержать его в консервации... К сожалению, хозяева всегда спешат. Словно не понимают, как важно закрепить человека на нелегальном положении годик-другой. Вот японцы, те в этом отношении бесподобны: по десять лет держат свою агентуру на консервации ради одного какого-нибудь задания. Но зато у них и агентура! Не то что выдумки, которыми он сам вынужден пичкать хозяев, ради поддержания в них бодрости. А то, не дай бог, захлопнут кошелек перед самым носом!

...О чем это он должен был хорошенько подумать?.. Ах, да, Силс... Этот парень еще пригодится».

Мартын Залинь

Когда Грачик включился в расследование, Мартын Залинь уже был арестован. Правда, основанием для ареста послужили обстоятельства, показавшиеся по началу важными и достоверными: наличие ножа, опознанного за нож Залиня; не объясненное Залинем отсутствие его на работе вечером и в ночь преступления и некоторые другие улики. Соображения следователя, ведшего дело, показались теперь Грачику недостаточными для дальнейшего применения этой меры пресечения. Слишком большое место в них занимали утверждения свидетелей, что «убийца – Мартын, и никто другой!» Показания могли быть основаны на вражде между Мартыном и Эджином, на ревности Мартына и на его угрозах разделаться с соперником. А следователь, хотя и не новичок, по мнению Грачика, все же попал в плен чужого мнения. Сыграла роль массовость и единодушные высказываний рабочих бумажного комбината.

Так или иначе, доказательность материала, собранного против Залиня, становилась, по мнению Грачика, недостаточной. Грачик считал, что только в сочетании с другими изобличающими обстоятельствами, имеющими неоспоримую силу, эти показания могли бы получить вспомогательное значение, стать косвенными уликами. Но именно этих-то «неоспоримых» обстоятельств в деле и не было. Вдобавок Мартын Залинь доказал свое алиби: той ночью, когда произошла смерть Круминыша, Мартын участвовал в гулянке с товарищами, а затем спал в общежитии, а днем был на работе в комбинате. Грачик не видел оснований держать Мартына под стражей. Следователь, от которого Грачик принимал дело, не согласился с Грачиком. Их разногласие дошло до прокурора республики. Грачик понимал, что ему предстоит нелегкий спор: как-никак ему противостояли местные работники, Крауш не имел оснований им не доверять.

Приглашенный на совещание в кабинет прокурора республики, Грачик без особенного внимания следил за тем, как проходили другие, не касающиеся его вопросы. Он разглядывал сидевшего на председательском месте прокурора республики. Крауш был блондин невысокого роста с усталым лицом. О нем говорили как о большом пунктуалисте, зачем-то стремившемся казаться сухарем, а в действительности только усталым, но очень добрым человеком, не в меру прямолинейным в разговорах с начальством. Однако, на взгляд Грачика, черты прокурорского лица мало гармонировали с отзывами о его доброте: сильно выдвинутая челюсть с острым подбородком, маленькие глаза того мутного серо-голубого оттенка, который не позволяет определить их подлинное выражение. Над глазами – высокий выпуклый лоб. Все выглядело сурово и даже сердито. Впрочем, тут же Грачик пришел к выводу, делавшемуся до него по крайней мере тысячу раз в год в течение многих тысячелетий: «Куда приятнее видеть доброго человека с суровым или хитроватым лицом, нежели красавца, обладающего душой жестокого хитреца».

Время от времени лицо прокурора болезненно напрягалось от душившего его кашля. Приступы этого кашля были часты и продолжительны и сотрясали все тело прокурора. В начале приступа он поспешно хватался за папиросу и глубоко затягивался. Дым, несмотря на кашель, долго оставался где-то внутри прокурора. Лишь когда кашель кончался, дым желтовато-сизой струйкой медленно выходил из ноздрей. Грачик с удивлением, морщась от сострадания, глядел на задыхающегося прокурора и не мог понять, как немолодой и умный человек пытается утишить кашель папиросным дымом. Грачику казалось, что это равносильно тому, что человек в трезвом виде стал бы гасить пожар, поливая его бензином.

Наблюдая прокурора, Грачик вдруг заметил, что взгляд того почему-то с особенной настойчивостью остановился на нем самом. Оказалось, что, увлеченный своими размышлениями, Грачик пропустил мимо ушей, как ему было предложено изложить свою точку зрения на дело Мартына Залиня.

Слишком резкий армянский акцент Грачика искупался его приятным грудным голосом и ясностью, с какой молодой человек излагал свою мысль. Несколько смущенный тем, что его застали врасплох, он все же точно и твердо формулировал свое требование освободить Мартына. Прокурор, уже выслушавший до того оппонентов Грачика, разразившись очередным приступом бешеного кашля, сипловатым голосом устало проговорил:

– Заклучая под стражу Мартына Залинья вы, – он указал карандашом на сидевшего ближе всех следователя, – ссылались на статью сто девятую, а вы, – его карандаш обратился в сторону сидевшего рядом со следователем районного прокурора, – вы, не дав себе труда самому тщательно разобраться в соображениях следователя, санкционировали арест. Ход ваших мыслей мне ясен: «Наш человек всегда прав». Тут есть даже ваше упоминание, ни к селу ни к городу, статьи двести шестой. Вы ухватились за нее, полагая, что лучше немножко переборщить, чем недоборщить. Но это старая система работы. О ней надо забыть! Я вас спрашиваю, при чем тут двести шестая статья?!

– Видите ли... – начал было районный прокурор, но республиканский перебил его, стукнув карандашом по стеклу, покрывавшему стол:

– Что мне видеть!.. Мы с вами отвечаем за соблюдение советской законности в любых условиях и обстоятельствах. Это единственное, что я вижу и советую видеть вам всегда и везде. Мы советские прокуроры! Надо же это в конце концов понять до конца: мы око народа в его борьбе за законность и за права каждого отдельного человека, хотя бы этот человек сам и ничего не смыслил в вопросах права! Понимаете?!

– Я тщательно проверил свидетельские показания... – снова начал райпрокурор.

– Я их тоже проверил, – резко перебил республиканский. – Но проверил и ваши действия. Вы действовали так, как мы тридцать шесть лет назад. Но тогда этого требовали от нас условия – потеря минуты могла стоить слишком дорого. Не воображайте, будто мы не понимали того, что действовали подчас вне рамок писаного права, – таково было время, таковы были тогда условия диктатуры.

– К сожалению, – с несколько излишней задористостью заметил Грачик, – кое-что такое имело место не только тридцать шесть лет назад.

– Да, к сожалению, это случалось и позже. – Прокурор метнул на него сердитый взгляд и, не глядя в его сторону, продолжал: – По разным причинам право решать судьбу советского человека не всегда попадало в руки его друзей. Но повторяю: это только случалось, а не было и не будет правилом и примером для других. Не будет! – Карандаш сухо стукнул по стеклу. – Мы с вами живем в период, когда меняются функции и роли диктатуры, меняется наше отношение к букве закона и когда наша с вами борьба за революционный правопорядок становится особенно важной. – Его карандаш опять холодно стукнул. – И никому из нас не будет дозволено действовать, руководствуясь одним только страхом.

– Кого же я боялся? – удивленно спросил следователь.

– Вы боялись остаться в дураках, если подозреваемый скроется. – Следователь пожал плечами, в ответ на что прокурорский карандаш с новой силой опустил на стекло.

– Для меня он был уже обвиняемым, – успел возразить следователь. – Я предъявил ему обвинение. Органы дознания...

Карандаш стукнул несколько раз – громко, повелительно.

– Оставьте в покое органы дознания, – строго сказал прокурор. – Ссылки на них вас не спасают. К тому же органы не действуют очертя голову и подконтрольны нам в части санкций. За ваши действия отвечаете вы сами. – Тяжкий приступ кашля снова заставил прокурора умолкнуть. Давясь, он прикрыл глаза. Грачик почти со страхом смотрел, как он багровеет, как слезы выступают из-под опущенных ресниц. Грачик был слишком здоровым и жизнерадостным человеком, чтобы допустить мысль, что подобные страдания (так ему казалось) могли стать привычными. Поэтому Грачику хотелось что-то сейчас же сделать, чтобы помочь про-

курору откашляться или хотя бы сказать ему несколько слов сочувствия. Но никто из окружающих не обращал на этот кашель внимания. Очевидно, это было всем уже так привычно, что заседающие воспользовались паузой только для того, чтобы перекинуться между собою несколькими репликами. Как только приступ окончился, совещание продолжалось как ни в чем не бывало. Сам же прокурор и заговорил, продолжая фразу, словно она и не прерывалась: – Отвечаете вы и никто другой, – и оглядел сидящих за длинным столом прокуроров и следователей: – Ваше мнение, товарищи?

Несмотря на порицание действий следователя, высказанное прокурором республики, присутствующие вовсе не были единодушны в своих оценках. Но все же совещание окончилось решением о необходимости освободить Залиня, так как его алиби представлялось доказанным. На следующий день Мартын был освобожден к удивлению и неудовольствию рабочей общественности бумажного комбината.

Мартын вернулся в С. в шляпе, лихо сдвинутой на ухо, и, подойдя ночью к окошку Луизы, сказал:

– Ну, погоди!.. Узнаешь, как на меня капать!

Петерис Шуман

В кармане брезентовой куртки, надетой на Круминьша в момент смерти, был обнаружен пистолет «браунинг». Его обойма была пуста. Ствол носил следы выстрелов. Это могло служить подтверждением тому, что Круминьш застрелил своего спутника, приняв его за работника милиции. Проверка, произведенная по всей республике, показала, что пистолет «браунинг» с таким номером на вооружении латвийской милиции не значился. Никогда ни одному работнику милиции Латвийской ССР этот пистолет не выдавался. Это могло служить еще одним доказательством тому, что «арестовавший» Круминьша человек не принадлежал к аппарату милиции – ведь Круминьш писал: «Застрелил офицера из его собственного оружия».

Первый вопрос, который Грачик себе поставил, ознакомившись с материалами дела, сводился к тому: почему, имея пистолет и патроны, Круминьш повесился, а не застрелился? Допустить, что в обойме у него имелось ровно столько патронов, сколько понадобилось, чтобы застрелить конвоира?.. Тогда надо допустить, что Круминьшу понадобилось несколько выстрелов, чтобы разделаться с конвоиром... Два, ну, три выстрела в любых обстоятельствах достаточно, чтобы попасть на близкой дистанции в убегающего человека. А можно ли предполагать, что в обойме у преступника имелось только два или три патрона? Это было маловероятно. Допущение, будто Круминьш повесился, было, по мнению Грачика, ошибкой. Он настаивал на необходимости всесторонне исследовать версию инсценированного самоубийства. Однако заключение, данное по этому вопросу психиатрической экспертизой, гласило, что в том состоянии, в каком находился в последние минуты жизни Круминьш, от него не следовало ждать логических действий. Так же, как он повесился, имея в кармане пистолет, он мог и утопиться; мог, располагая таким верным оружием для уничтожения своего спутника, как пистолет, выжидать удобного момента, чтобы задушить свою жертву или ударить камнем по голове. По мнению врачей, несомненная психическая травма Круминьша позволяет сделать любые предположения.

Грачик считал выводы экспертов неубедительными.

К этому времени в деле появилось новое обстоятельство. Стоило слуху о том, что арест Круминьша был фиктивным, распространиться на комбинате, как к властям явился местный католический священник отец Шуман. Он предъявил снимок, сделанный в день «ареста» Круминьша. На снимке был изображен «арестованный», идущий в сопровождении двух неизвестных: один – в форме милиции, другой, – на заднем плане, лица которого не видно, – в штатском. Фоном для всей группы служил местный католический храм – маленькое деревянное сооружение, весьма дряхлого вида и незатейливой архитектуры. Ошибиться в том, что идущие именно названные лица, было невозможно: лицо Круминьша было отчетливо видно. Все детали формы советской милиции на его спутнике были также ясно различимы.

– Где вы взяли этот снимок? – спросил Грачик.

– Нескольким ателье было поручено сфотографировать наш скромный храм, – ответил Шуман. – Я намеревался размножить снимок с целью продажи прихожанам. Нам нужны средства на поддержание храма.

– И вы полагали, что снимок со столь неказистой постройки будут покупать в таком количестве, что это может вам что-то дать?

– Именно в том, что вы изволите называть неказистостью, и заключается смысл. Убогий вид нашего храма должен напоминать верующим о бедственном положении дома Господня. Продажа снимков была бы источником дохода на поддержание храма.

– А каким образом эти трое попали на снимок? – спросил Грачик.

– Я сам этим удивлен, – отец Шуман пожал широкими плечами. – По-видимому, фотограф не заметил, как они вошли в поле зрения аппарата, или не придал значения тому, что на

снимке окажутся прохожие. Но я счел этот снимок испорченным и забраковал его. И только теперь, когда до меня дошел слух о случившемся с Круминышем, я вспомнил об этой фотографии и счел своей обязанностью представить ее вам. – Шуман ткнул пальцем в фотографию: – Вот видите: один из этих людей – в форме милиции.

– Мы вам благодарны. Оставьте эту фотографию нам.

– О, разумеется!

Разговор казался оконченным, а священник все еще мялся. Он взялся было за шляпу, но Грачик видел: что-то недосказанное висит у него на языке.

– Вы хотите сказать нам еще что-то?

– Видите ли, – смущенно проговорил отец Шуман. – Фотографирование обходится теперь так дорого... Я уплатил за этот снимок...

– Ах, вот в чем дело! – не без удивления воскликнул Грачик. – Сколько же мы вам должны?

– Такой снимок, сделанный в одном экземпляре, фотографы ценят в пятьдесят рублей. – И священник с поспешностью пояснил: – Они берут за выезд из Риги.

Грачик вручил священнослужителю пятьдесят рублей, и тот, церемонно поклонившись, ушел. Грачик внимательным взглядом проводил его широкую спину и багровевший над нею мясистый затылок, прорезанный у шеи узкой полоской крахмального воротничка. Когда Грачик смотрел на розовый затылок, на белую полоску накрахмаленного полотна над черным воротником пиджака, ему казалось, что он уже где-то видел и этот мясистый затылок, и эту белоснежную полоску над черным сукном... Но где?.. Где?..

По привычке непременно вспомнить то, что показалось ему знакомым, Грачик еще долго, настойчиво думал о затылке священника. Но нужное воспоминание не приходило. И он решил, что память его обманула или при взгляде на отца Шумана ему вспомнились подобные же, но другие упитанные затылки.

Однако Грачик был упрям тем хорошим упрямством добросовестности, какое необходимо всякому исследователю. Промучившись ночь, напрягая память, он наутро, не успев позавтракать, отправился к костелу в Риге и первым вошел под его темные своды. В притворе еще не было даже зажжено паникадило, и Грачик больно ударился протянутой рукой в затворенную дверь. Сторожиha с нескрываемой неохотой загромыхала ключами. В храме было тихо и пусто. Шаги Грачика не очень громко отдавались на выщербленном, словно выбитом подковами полу. Грачик прошел по рядам скамей. Запах времени, не слышанный Грачиком раньше, въедался в его ноздри, как напоминание тлена, к которому с каждым веком, с каждым десятилетием быстрее и вернее шел этот памятник Богу, упрямо не желающему уходить в небытие. Грачик прошел на место, где стоял во время богослужения несколько дней назад, когда приехал поглядеть храм и обряды. Он, как тогда, прислонился к колонне и закрыл глаза. И снова перед ним, как тогда, потянулось торжественное богослужение. Скамьи заполнялись людьми, похожими больше на любопытных, явившихся поглазеть на интересное зрелище, чем на богомольцев... Грубо раскрашенные изваяния Мадонны и святых лепились к массивным опорам высокого свода. Ковер дорожки, протянутой от боковой двери, яркой полосой алел вокруг всей церкви, ведя к алтарю. И, наконец, появились, выплывая из низкой двери, фигуры священнослужителей всех рангов. Почти всем им – большим и дородным – приходилось нагибаться, чтобы не стукнуться о камень низкого свода. Кружевные одежды поверх черных сутан, белоснежные галстуки. И надо всем этим – хмуро сосредоточенные, налитые кровью, напоенные сознанием своего значения, иссиня-багровые лица. Вот лицо важно вышагивающего епископа. Он глядит в пол и ступает так осторожно, словно старается ступить на след своего собственного огромного посоха. За епископом целая процессия худых и толстощеких, но одинаково важных, одинаково налитых кровью лиц. И где-то в хвосте процессии, рядом с маленьким сухопарым старичком, облаченным в не по росту длинный хитон, с золотым крестом на груди, – лицо

– широкое, с отвисающими щеками и насупленными белобрысыми бровями. Двойной подбородок лежит на глянце крахмального воротничка. Лицо настолько красно, так напряженно, налито кровью, словно этот воротничок давит шею священника, подобно пыточному ошейнику. Вот-вот, брызнет кровь из пор надувшегося лица...

Грачик хорошо помнит, что, глядя вслед процессии, он видел затылок замыкающего священника – такой же налившийся кровью, такой же раздутый, как щеки, подбородок, как все лицо... А не был ли перед ним тогда этот самый затылок? Тот же, который он видел вчера, – затылок отца Шумана?

И сейчас, когда Грачик вспомнил, как церемонно поклонился отец Шуман, взяв свои пятьдесят рублей, как важно шагал к выходу, показывая широкую спину и складки затылка, Грачику почудилось, будто он снова видит всю процессию там, в рижском костеле. Грачику чудилось, что он без ошибки воспроизвел бы теперь и торжественную песнь органа, под звуки которого совершалось шествие... Да, теперь он был уверен – вчера перед ним был тот самый затылок! Красный затылок отца Шумана!

Прокурора зовут к ответу

Стоя у окна приемной первого секретаря, Крауш смотрел на Ригу. С этой высоты город казался утопающим в садах. Бульвары и парки сливались в сплошной зеленый массив. Сколько бы раз Крауш ни подходил к этим окнам – а он был частым гостем на верхних этажах ЦК, – Рига всегда представляла перед ним по-новому прекрасной. Весна, лето, осень – все одевало город своим ни с чем не сравнимым убором. С этим соглашался даже он, Крауш, – человек отнюдь не влюбленный в природу. Он не мог бы дать отчета: почему эта панорама всегда заставляла деятельно работать его память, но это было так. Этапами, в зависимости от настроения, проходили перед ним события прошлого – жизни, отданной тому, чтобы этот город стал тем, чем стал: сердцем Латвии, столицей страны, принадлежавшей его народу, управляемой его народом. Крауш хорошо помнил, кто и как правил страной прежде; помнил корысть и властолюбие полновластных хозяев буржуазной Латвии. Поэтому то, что молодому поколению казалось извечным и само собою разумеющимся: народовластие, революционный порядок и равные права для всех – элементы государственности и правопорядка, на страже которых стоял теперь он сам, генеральный прокурор республики, – было для поколения Крауша плодом борьбы со старым миром. И то, что казалось молодежи прошлым, сданным в музей революции, – самая эта борьба, вовсе не представлялось ему законченным этапом. Борьба продолжалась. Старый мир умирал, но еще не умер. Его печальное и подчас мрачное наследие как вредный мусор тлело кое-где в сознании людей. Чтобы покончить с этим тлением, тоже нужно было бороться.

Крауш был одним из представителей старой партийной гвардии, для которых в поручениях партии не существовало большого и малого, интересного и неинтересного, видного и невидного. Он уже не рассчитывал воспользоваться для себя самого плодами победы над старым миром и даже не надеялся отдохнуть. Интересы народа и воля партии были компасом, с которым он прошел по жизни и с которым собирался уйти в вечную отставку. Работа и борьба стали привычкой, жизнью. Он удивлялся тем, кто говорил об «отставке», рассчитывал пенсии, планировал жизнь на покое. Разумеется, это было в порядке вещей, и именно ему, Яну Краушу, было поручено наблюдение, чтобы провозглашенное конституцией право на обеспеченную старость свято соблюдалось. Он был готов вступить в бой с нарушителями этого права других. Но ему не приходила мысль о том, что давно вышли все сроки и его собственной службе и он сам имеет право на покой и на старость. Он не хотел покоя и не чувствовал старости. Этих терминов не было в его словаре.

Да, не раз стоя у этих окон, Крауш размышлял на подобные темы. Но нынче его мысли были куда более прозаическими и ограниченными во времени и пространстве. Они вертелись вокруг Алуксненского района, порученного его наблюдению как депутату Верховного Совета. Не всегда удавалось вырвать время, чтобы отмахать двести с лишним километров для посещения Алуksне. Подчас приходилось ограничиться телефонным разговором. А время настало горячее – подготовка к уборочной. Вероятно, молодые руководители района наломали дров, и вот Крауша ждет внушительная головомойка.

Крауш был ветераном партии и занимал один из самых высоких постов в республике. Но когда его вот так, внезапно, вызывали к старшим партийным товарищам, он чувствовал себя немногим лучше, нежели в юности, когда представлял перед инспектором школы. На свете существует два рода деятелей. Одни, будучи поставлены на высокий пост, довольно быстро забывают, что этот пост – не что иное, как поручение, тем более ответственное, чем оно выше. Такие деятели быстро теряют представление о собственном месте в системе партии и государства, утрачивают скромность, обретают самоуверенность, ничего общего не имеющую с достойной уверенностью в себе. Начав с того, что при встрече со старыми товарищами подают им левую руку, они скоро утрачивают партийное лицо, помышляют только о бытовом подража-

нии дурным примерам вельможеванию, забывают о том, что они – только слуги народа. Такие кончают безвестностью за штатом истории. Другого рода деятели на любом месте и в любом положении сохраняют ясность перспективы и понимание обстановки. Они всегда помнят об ограниченности собственной ценности и о значении порученной им работы. Такие остаются верны ленинским заветам партийной скромности и знают, что их сила не в них самих, а в стоящей за ними партии. Такие одинаково серьезно относятся к критике сверху и снизу.

Сегодня, переступая порог кабинета первого секретаря Центрального Комитета, Крауш был немного не в своей тарелке – за ним вина: упущенное из рук руководство подготовкой к уборочной.

Товарищ Спрогис, первый секретарь ЦК, – человек небольшого роста и той степени плотности, которую только-только нельзя назвать полнотой, – поднялся из-за стола и сделал шаг навстречу Краушу. Седые усы его так топорщились, что придавали лицу сердитое выражение даже тогда, когда Спрогис чувствовал к посетителю искреннее расположение.

– Давно не виделись, – густым хрипловатым, словно простуженным, баском проговорил Спрогис, имея в виду, что со времени последнего заседания бюро ЦК, на котором присутствовал Крауш, прошло уже пять дней. – Как дела?

– Хвастаться нечем.

– В какой области?

– Да начать хотя бы с той, о которой бюро поручило мне собрать сведения.

– Вы имеете в виду правопорядок в республике?.. Разве так плохо обстоит дело?

– Конечно, сравнить нельзя с прошлым, но все же... Нет-нет да и забудет кто-нибудь, что конституция – это не просто плакат с красивыми словами. – Усы Спрогиса встопорщились еще больше. Крауш улыбнулся: – Нет, нет! Дело не дошло до того, чтобы нужно было повесить перед каждым работником аппарата ее текст. Не дошло и не дойдет!

– Но если хотя бы один советский гражданин может ткнуть нас носом в то, что забыта хотя бы одна ее статья и хотя бы один только раз, одним только работником аппарата, – стыд и срам! Небось хуже всего там, где дальше от глаз: в районах, в колхозах? А для чего там ваши прокуроры?

– Да ведь народ теперь как понимает дело?.. Чуть что – конституция. Налог перебрали – конституция! В районный центр понапрасну вызвали, от работы оторвали – конституция! Я уж не говорю о том, что нужно семь раз отмерить, прежде чем вора за руку схватить.

Басистый смех Спрогиса гулко разнесся по большому, отделанному деревом кабинету.

– А вы говорите «хвастаться нечем». Так это же просто великолепно: народ сам, без помощи ваших прокуроров, стоит на страже конституции! Это же просто отлично! – весело повторял Спрогис, размахивая трубкой. За нею тянулась полоса едкого дыма. Спрогис курил очень крепкий табак, какой курил, наверно, еще будучи литейщиком на «Руссо-Балте», и Крауш чувствовал, что от этого дыма его тянет на кашель. Спасть можно было только закулив самому, но папиросы остались в приемной, и он пытался подавить приближавшийся мучительный приступ кашля. А Спрогис между тем продолжал: – Вот это и есть настоящий порядок! – Тут он сунул трубку в рот, и две стремительные струи дыма, одна вдогонку другой, вырвались из-под его усов. – А вот переходя к Алуксненскому району, приходится сказать, что хвастаться действительно нечем.

Крауш посмотрел в глаза Спрогису.

– Это моя вина, – сердясь на самого себя, сказал он. – Но есть кое-что принципиальное, что народ ставит перед нами как важнейший, первоочередной вопрос: кукуруза!

Спрогис далеко отставил руку с трубкой. Вся его фигура выразила заинтересованность. Он с нескрываемым нетерпением ждал, что дальше скажет Крауш.

– Колхозники говорят, – размеренно, как если бы ему хотелось насколько можно точнее передать каждое слово чужого мнения, проговорил прокурор, – они засеют кукурузой в десять раз больше, чем мы предлагаем. «И уж мы ее выходим, выхолом, вырастим!...» Но для этого они должны быть уверены, что кукуруза им самим нужна, что без нее им не обойтись. Вот так: они готовы принять любой план заготовки кукурузы, так сказать, на вызов, если мы примем их план: избавить их от посевов зерновых сверх нужного для их собственных потребностей. А в качестве основного производства, в любом масштабе, сколь угодно большом, закрепить за ними животноводство. Рогатый скот и свинья, да еще гусь – вот что они готовы давать высшего качества и в любом количестве. «Вот тогда, – говорят они, – нам понадобится и кукуруза, и овес, и такие травы, о каких мы сейчас и не думаем. И все будет», – говорят они...

По мере того как говорил Крауш, лицо Спрогиса принимало все более суровое выражение, усы топорщились, и клубы дыма, один другого гуще, взлетали над его головой, словно выстреленные.

– ...Они прямо-таки помешались на рогатом скоте, – в заключение раздраженно заметил Крауш.

Спрогис с кряхтеньем поднялся из-за стола и медленно прошелся по кабинету.

– А может быть, и не так уж помешались! – послышался его бас из дальнего угла комнаты.

Крауш оглянулся и с удивлением увидел, что один глаз секретаря прищурен, словно он подмигивал прокурору.

– Может статься, не такие уж они помешанные, а? – задумчиво повторил Спрогис, подходя к Краушу.

Несмотря на свой небольшой рост, он глядел теперь на прокурора сверху вниз:

– Ну что ж вы молчите, прокурор? Что вы сами-то думаете: помешались они или нет?

– Я плохой хозяйственник, – уклончиво ответил Крауш.

– Вой тик вен сауле спид, ка па логу истаба... Разве только и свету солнечного, что через окошко в избу?... Как ни стара поговорка, а нынче в ней столько же смысла, что и тысячу лет назад. Может быть, и впрямь колхознику не только света в окошке, что мы ему отсюда, сверху, посветим, а? – Кажется, Спрогис опять подмигнул. Или только прищурился? – Его интересы – наши интересы, наши интересы – его интересы... Надо посоветоваться с хозяевами. Да не с нашими канцеляристами, нет!.. А собрать вселатвийское совещание колхозников, посудить да порядить всенародно: что выгоднее всего республике? Что годится для наших почв, для нашего климата? Может статься, мы действительно маслом, мясом, свиной, гусятиной советский народ питать можем, а? Вот перспектива! Черт побери, вывозили же эти продукты господ латышские буржуа во времена Ульманиса! А что мы хуже их, что ли?! А нам за масло да за мясо хлеба подкинут и всего, что надобно, а? Ведь не требует же Москва хлеба от Кузбасса! Не берут хлеба с Воркуты, с Грузии! Енисей искупает свою бесхлебность лесом и ископаемыми. Средняя Азия – хлопком. Может статься, по такому примеру и мы вместо ржи – корову, вместо пшенички – свинью, гусятинку? Яичко, маслице, мяско, а?

– Не знаю, не знаю, – уклончиво бормотал Крауш.

– Э, нет! – Спрогис сердито взмахнул трубкой над головой прокурора: – Надо знать, прокурор, и своим умом пораскинуть, Москве подсказать, посоветоваться с нею. Это и есть то самое, чего ждет от нас партия: инициативы, разумной подсказки, раздумья и совета. Иначе можно забрести в такой тупик, что и ног не вытащишь. Знаете, как говаривали деды: «Даудзи дену Мудиня: цита лаба, цита лауна; цита эста, цита дзерта, цита гаужи нараудата» – «Много дней в человеческом веке: один хорош, другой злой; в один ешь, в другой пьешь, в третий горько плачешь...» Вот, чтобы нам не плакать, и нужно помнить, что не все дни одинаковы: бывают добрые, а бывают и злые.

– Но на сегодня, – сухо отозвался Крауш, – имеющийся план – это обязательно! Не могу же я отбросить его только потому, что он не по душе группе колхозников, и пустить район в плавание по воле волн?!

– По воле волн, конечно, худо, – усмехнулся Спрогис. – Всегда лучше по воле человека. Но все же взять хотя бы кукурузу. Мне кажется, при умелом подходе можно сделать так, что колхозы сами будут просить: дайте нам план на кукурузу! А тем, что мы пытаемся навязать ее...

– Уж и навязать! – поморщился Крауш.

– А как иначе назвать такой способ? И нет ничего удивительного в том, что у колхозников нашей Латвии эта выгоднейшая культура все еще не приобрела заслуженной популярности. Вместо того чтобы самому слову этому стать ласкательным: «кукурузочка». – Спрогис выпятил губы и, прищурившись, ласково повторил нараспев: – «Кукурузочка»!.. Нет ничего немилей навязанного дела. Вот в одной республике руководители только и делали, что глядели в рот начальству. Беспрекословно принимали все, что предлагала Москва. Разве им и в голову не приходило, что Москва сама ждет критического отношения к своим предложениям? В народе, знаете, что стали говорить об этих покладистых местных руководителях?.. «Они о своих местах думают, – как бы им за неповиновение не влетело. А до дела им и дела нет!» – Спрогис грустно покачал головой и раздул усы. – Вам нравятся такие речи? Небось в былое-то время... – Он выразительным жестом схватил сам себя за воротник у затылка и рассмеялся. – Контрреволюционная, мол, агитация, а? Ну а что тут контрреволюционного, ежели колхозник раскусил горе-руководителей? Так-то, прокурор...

– Право, я не силен в сельском хозяйстве.

– Ну, не такие уж это сельскохозяйственные разговоры!.. Но коли они вам не по душе, обратимся к делам сегодняшним. Вот, прочтите, – недовольно проговорил Спрогис и, с размаху опустившись в кресло, взял лист, лежавший поверх стопки дел и, видимо, заранее приготовленный для Крауша. – Уж тут-то вы небось сильны.

Анализ бесконечно малых

По одному взгляду, брошенному на бумагу, Крауш понял, что это коллективное письмо: целый столбик подписей красовался в конце страницы. Он не спеша достал очки и внимательно, слово за словом, прочел бумагу. Письмо рабочих бумажного комбината в С. гласило, что им странна неторопливость, с которой прокуратура республики ведет дело о самоубийстве Эджина Круминьша. На комбинате ходят разные слухи. Если в них есть доля правды, то необходимо быстрое расследование – враг должен быть схвачен. Дело волнует рабочую общественность комбината.

Крауш не спешил с объяснением. Чтобы оттянуть время, он долго укладывал очки в футляр.

– Мне кажется... – медленно проговорил наконец Крауш, выпячивая подбородок и отводя взгляд от пытливых глаз секретаря, – дело не столько в медленности следствия, сколько в недоверии к человеку, который его ведет...

– Недоверие к следователю? – спросил Спрогис, и в голосе его прозвучала строгая озабоченность.

– Погиб этот Круминьш, латыш с трудной биографией, рабочие на комбинате на 99 процентов латыши. – И как бы в подтверждение Крауш показал на нижнюю часть листа, где стояли подписи. – А работник, которому я поручил дело, – армянин... Они, видимо, хотят, чтобы следствие вел латыш.

– Послушайте, Крауш, – медленно, словно не в силах преодолеть удивление, проговорил Спрогис. – Вы действительно так думаете? – И, не дождавшись ответа прокурора, требовательно: – А вы посмотрите на эти подписи!..

– Я тут никого не знаю.

– Рабочие взволнованы как граждане своей страны, как члены партии обеспокоены событием. – Спрогис постучал пальцем по списку. – Многих я знаю. Товарищ Лутц стоял рядом со мной у вагранки на «Руссо-Балте», вместе с ним мы были в подполье. Это не тот человек, который согласился бы поставить свою подпись, если бы составители письма имели заднюю мысль, какую вы тут вычитали. А вот и Роберт Лутц – его сын, секретарь комсомольской организации комбината. Для этих людей дело не в том, ведет ли расследование армянин, латыш или казах. Наши люди переросли подобное! Дело не в Грачьяне, если вы ему доверяете.

– Пока вполне.

– Что значит ваше «пока»?

– Он для меня новый человек. Но поскольку начало дела – покушение на жизнь Ванды Твардовской – еще в Москве попало в его руки...

– Этот случай с отравлением?

– Вот именно... Дело вел Грачьян. Но оно, на мой взгляд, связано с делом Круминьша. Я не видел причин передавать его другому работнику, тем более, что Грачьяна хорошо рекомендовали.

– А причем тут рекомендация?

– Видите ли, этот Грачьян – ученик и сотрудник некоего Кручинина, моего старого товарища и очень опытного человека.

Спрогис вынул трубку из рта и отвел ее далеко от лица. Он силился что-то вспомнить, повторяя про себя: «Кручинин... Кручинин...»

– Постойте-ка, Ян Валдемарович, а не мог ли я сталкиваться с Кручининим в Гражданскую войну?.. Мне почему-то вспоминается...

– Могли, вполне могли, – несколько отходя от обычной своей сдержанности, ответил Крауш. Ему всегда было приятно воспоминание о тех временах. – Именно так: когда мы с

вами были в интернациональной дивизии, Кручинин работал в военном трибунале. И даже сам Грачмян имеет, хотя и несколько косвенное, отношение к дивизии: помните...

Спрогис взмахнул трубкой и радостно перебил:

– О, «китаист»! – Он рассмеялся, и все лицо его залучилось морщинками. Даже усы, казалось, утратили свою жестокость. И он стал похож на доброго дедушку. – Да, были времена! Нужно нам, старикам, как-нибудь собраться и повспоминать, а?.. Однако... – внезапно обрывая смех, строго сказал Спрогис: – Я хочу спросить вас: что это, по-вашему, частный эпизод, случайное убийство, или правы авторы этого письма и тут стоит поискать руку врага?.. Давайте попробуем уйти от частных. Рассмотрим это как событие, уходящее корнями в сложную судьбу латышского народа в войне и мире. Подумаем о судьбе латышей, которые оказались оторванными от родной земли. Одни из них стали субъектами преступления, другие его объектами...

– К сожалению, – с неудовольствием заметил Крауш, – среди них больше «субъектов», чем «объектов».

– А все они в целом, эти «перемещенные», разве не являются жертвой огромного отвратительного преступления? – спросил Спрогис, в гневе отбрасывая трубку так, что пепел из нее высыпался на стол.

– Это, конечно, верно, – согласился Крауш, – но в эмиграции рабочих и крестьян меньше малого. В основном – мелкая буржуазия, чиновничество, торговцы, в лучшем случае ремесленники, пошедшие на поводу у крупных буржуа, те, кто бежали из боязни, что с нами им будет не по пути. Да прибавьте к этому, что каждый третий там – солдат латышских дивизий Гитлера.

– А вы уверены, что и в дивизиях «СС» латыши были только убежденные последователи фашизма? Не было ли и там обманутых, заблуждающихся, может быть, даже попросту голодных, не видевших иного спасения, как только в куртке нацистского солдата? Вы об этом не задумывались?

– Задумываюсь каждый понедельник.

– Работа комиссии по пересмотру старых дел дает, конечно, богатую пищу. Но вы-то сами не задумывались над проблемой «перемещенных»? Это болезненная рана на теле нашего маленького народа. Мне очень хочется, чтобы вы от частного случая убийства – или самоубийства, не знаю, – перешли к общему: к проблеме «перемещенных» лиц. Анализируя бесконечно малую величину – жизнь убитого Круминыша, не должны ли мы проинтегрировать все, что найдем? Посмотрим на силы, какие тянут людей сюда, к родной земле, и на силы, стремящиеся этому помешать. Стоит поинтересоваться и ролью римской курии. Она спелась с эмигрантскими главарями и готова принести в жертву своим мрачным планам сколько угодно человеческих, в том числе, конечно, и латышских жизней... – Спрогис на минуту умолк. Крауш не решился сказать, что он все это понимает, только ему не приходило в голову связывать частный случай убийства Круминыша с такими большими проблемами. Прокурор молча, насупясь, слушал секретаря: – Вы из своей повседневной практики знаете, сколько вреда старались и будут стараться принести нам и нашему делу те, оттуда. Очи ведь не понимают, что руки-то у них коротки. «Жагatina жагатея, гриб ванага сева бут; иси спарне, гара асте, не вар лидзи лидинат» – «Сорока стрекочет, женою ястреба быть хочет; коротки крылья, длинен хвост, не одинаков полет». Они забыли эту старинную поговорку. Забыли мужицкую мудрость: «Кикуригу, ту гайлити, не бус гайсма даже дену» – «Ты-то, петушок, кукареку, да не всякий раз светает...» Им кажется – стоит господам оттуда прокукарекать, как тут воссияет им ясное солнышко. Ерунда! Вот, – Спрогис положил большую руку на письмо: – вот залог того, что ничего у них не может получиться, даже если бы мы с вами что-нибудь прозевали. Есть кому поправить нас, нам есть на кого положиться...

– Но там у этих самых «перемещенных» нам положиться-то и не на кого, – возразил Крауш. – В их рядах рабочий, как белая ворона!

Спрогис несколько раз с укоризной качнул головой, пристально глядя в лицо Краушу.

– Эх, прокурор, прокурор! Ожесточилось твое сердце... – И, заметив протестующий жест Крауша, добавил: – Я не в упрек!.. Может статься, на твоём месте другой стал бы в десять раз черствее. Я понимаю: месиво из отходов общества, которое ты вынужден каждый день нюхать, не может настроить на оптимистический лад... Понимаю!.. Но мне хочется, чтобы ты наперекор этому снова увидел мир теми же глазами веры и надежды, какими мы с тобой прежде глядели на него. Пойми, дорогой мой: если в начале борьбы у нас были основания подозрительно вглядываться в каждого, у кого на руках не было мозолей, то теперь дело не в мозолях. Знаю: примазавшиеся к нашим рядам враги, кандидаты в наполеончики, вытравляли из тебя все человеческое. О, они ловко маскировались! Не ты один, бывало, принимал это за указание партии. А ведь если бы не их вредительская политика навязывания страха всем, кого война выбросила за рубеж, быть может, и многим из тех, кто очутился в «перемещенных», не пришлось бы в голову сидеть там! Я имею в виду кое-кого из людей науки и искусства. Да, да, наши народные таланты. Без науки мы сейчас едва ли выбрались бы из века каменных топоров; без искусства нашим величайшим наслаждением был бы сон... Да, суп истории требует приправ! Нам нужен аромат литературы, живописи и театра. Мы уже не можем есть и пить, одеваться и передвигаться, жить без науки.

– Рабочий класс рождает свои таланты и двигает в жизнь... – начал было Крауш, но Спрогис остановил его протестующим движением.

– Не думаешь же ты обвинить меня в том, что я этого не понимаю. И небось удивлен: «Что это старику вздумалось читать мне лекцию на такую избитую тему?» А я должен повторить: при духовном богатстве рабочего класса, при его потенции заполнить все необходимые для жизни и прогресса звенья, бережливость и гуманность в его интересах и органичны для него. А ведь это враги расточительствовали в стремлении ослабить нас, хотели взять нас голыми руками – обнищавших духовно и телесно. Отщепенцы из шаек Ягоды, Берии, Абакумова и других перерожденцев не раз исторгали из нашего общества людей науки, искусства, медицины, инженерии. Негодяи играли на нашей преданности делу партии. О, они хорошо знали, что мы всегда, на всех этапах стремились быть бдительными! И, что греха таить: из-за нашей близорукости мы не так уж редко принимали их происки за чистую монету. Вот это хитрая работа, прокурор, а?! Обвести вокруг пальца эдаких зубров, а?! И вместо бдительности получалось черт знает что!.. Знаешь, чего я боюсь?.. Просто стыдно сказать: оказаться теперь недостаточно бдительным, а?.. Но не будет этого. Нет, не будет! Э, да что: не мне бы говорить, не тебе бы слушать!

Спрогис не сводил глаз с все больше хмурившегося Крауша. Прокурор глубже и глубже уходил в кресло и выпятил челюсть так, что, казалось, она вот-вот сравняется с носом. Но Спрогис был беспощаден. С кем еще, как не с прокурором, было ему говорить о наболевшем! Ведь нужно было избавиться от следов заразы – от последствий вредной работы, проделанной врагами, воспитавшими некоторых работников на излишней подозрительности ради снижения бдительности.

– Подумай, Ян, – говорил секретарь, – не тут ли причина хотя бы тому, что кое-кому из старых людей искусства было с нами не по пути? Что кое-кто из старых людей науки стал бояться своей работы? И посмотрите: достаточно было людям понять, что мы вовсе не враги искусств; что мы готовы снять с себя последнюю рубашку, чтобы помочь науке; что каждый, кто умеет работать, найдет место у станка, на комбайне, за чертежным столом, – как мы увидели тягу «перемещенных» домой. Ты же сам знаешь, какие кучи заявлений о репатриации лежат в наших посольствах всюду, где есть «перемещенные». Ты говоришь, что там, в эмиграции, почти нет потомственных рабочих? Верно! Их мало. Но ведь искусственное обнищание эмигрантов велось врагами, чтобы толкнуть этих людей в горнило, где готовится пушечное мясо; обездоленных, голодных, лишенных семьи и родины, их безжалостно гнали на каторгу африканских копий, их кости грудами гниют в зловонных болотах Южной Америки. Почему? Для

того, чтобы показать остальным, более упорным, что лучше надеть мундир солдата иностранного легиона, чем быть наверняка заваленным в шахте или заживо сожранным москитами. Это же система! Там гибнут люди, обезумевшие от страха, голода, отчаяния. Скажем же тем художникам: вам вовсе не нужно рисовать антисоветские картинки, чтобы получить котелок жидкого супа, – можете писать, что хотите, у себя на родине! Скажем писателям, застрявшим за пределами родины: Латвия нуждается в ваших перьях... Ты, конечно, уже насторожился. «А что они станут тут писать?» – Спрогис рассмеялся: – Не бойся, прокурор! Пусть колеблются, спорят, перевоспитываются. Всякий, достойный имени человека, – а из десяти оставшихся там людей пятеро – это люди, – хочет работать на свой народ, на свое собственное счастье, на будущее своих детей. А где их дети еще могут иметь будущее, будущее латышей, сынов *своей* страны, *своей* отчизны, как не дома? Где они могут думать, читать, писать, говорить на родном языке, кроме Латвии? Кому они, латыши, еще так нужны, как своему народу? Что им еще так нужно, как отчизна?.. И не случайно, старина, первыми потянулись к нам после простых рабочих именно представители интеллектуального труда. Да, Ян, наша с тобой обязанность сделать так, чтобы эти люди не боялись вернуться домой. Они должны *знать*, – Спрогис пристально посмотрел Краушу в глаза и строго повторил, – понимаешь, прокурор, *знать*, что советский правопорядок обеспечивает им всё предусмотренное нашей конституцией – права и почетные обязанности граждан. Конечно, тут не может быть разгильдяйства: бдительность и еще раз бдительность! Комитету безопасности не убавится работы от того, что мы протянем руку всем, кто за мир, и примем их на родную землю. Работникам безопасности нужно держать уши на макушке. И тут уж твое дело глядеть: умело вылавливать всю гнусь, какую враги попытаются подпустить к нам вместе с хорошими людьми. Нельзя попусту посылать к следователям людей с печатью подозреваемых или изобличаемых. Так-то, прокурор! Круминыш кому-то стоял поперек горла. Сам Круминыш и те, кто хотел идти по его пути. Найдем же тех, кому это не нравится, и покончим с ними! А тем, кто идет домой, чтобы честно жить и трудиться, – дружескую руку. «Лабак ман даудэн драугу не ка даудзи найдинеку. Драйге граугам року деве, найденекс зобенишь» – «Лучше много друзей, чем много врагов; друг другу подает руку, а враг врагу – меч...» Старики знали, что говорят: мы охотнее протягиваем руку дружбы, чем меч...

Часть вторая

Остров у озера Бабите

Еще недавно у Грачика было такое ощущение, будто от установления тождества отца Шумана с тем, кого Грачик видел на торжественном богослужении в костеле, зависел весь дальнейший ход дела. А теперь он не знал, что с этим открытием делать. Но так или иначе, словно избавившись от занозы, он вздохнул с облегчением и вернулся к изучению дела. В тот же день он был в С.

Ход расследования не радовал. Никто из свидетелей не опознал на снимке, доставленном священником, милиционера и человека в штатском, идущих рядом с Круминьшем. Только одной старушке, которую соседи уютно звали матушкой Альбиной, казалось, будто она видела такую группу – Круминьша и его спутников, – направлявшуюся к берегу реки. Однако уверенно сказать, как было дело, не могла и она. На том и расстались. И только через час, когда Грачик уже собирал бумаги, намереваясь ехать в Ригу, матушка Альбина вернулась, запыхавшаяся от поспешной ходьбы.

Она хорошо владела русским языком, так как, по ее словам, давно-давно, так давно, что Грачика тогда и на свете не было, жила в Петербурге.

– В беловейках. В беловейках, каких сейчас и помину нет! Этими вот руками, – она протянула Грачику скрюченные ревматизмом пальцы, – такое белье делала, какого нынче и в глаза-то не видят. Да я и сейчас еще! – Она хвастливо подмигнула. – Ежели бы только не глаза. Плохи глаза стали. Дай-ка ты мне еще раз на ту фотографию посмотреть, с теми тремя. Сдается мне, я кое-что припомнила.

Грачик подал ей фотоснимок и лупу. Матушка Альбина долго рассматривала лица, поворачивала снимок так и этак и, наконец, категорически заявила:

– Видела и этих троих. А только вот милиционер другой был.

Заяви это Альбина при первом осмотре фотографий, Грачик, вероятно, не усомнился бы в ее показании. Но теперь, когда она прибежала после часового отсутствия, у него возникло сомнение в добросовестности поправки. А с подозрением возникло и желание знать, кого старушка успела повидать за этот час. Но, очевидно, сейчас было бесполезно пытаться что-либо узнать. Он распрощался с Альбиной и уехал в Ригу.

Взвесив все обстоятельства дела, он решил повторить с самого начала весь путь, пройденный до него следствием.

А откуда же было и начинать, как не с того острова, где обнаружено тело Круминьша? Ружье и рюкзак за спиной могли помочь Грачику, не привлекая к себе лишнего внимания, обследовать остров.

Пароходик «Звайгзне», предрыхлый и такой обшарпанный, словно его не красили сто лет, медленно поднимался против быстрого течения Лиелупе. По правому борту прошли последние поселения Рижского взморья. Против Дубулты река сделала поворот, и болотная низменность правого берега сменилась темной стеною леса. Скоро вдали засветились яркие огни бумажного комбината в С.

Грачик вынул из кармана схему, сделанную для него в уголовном розыске. Он, кажется, знал ее уже наизусть и мог бы сам с полной точностью нарисовать место происшествия. И все-таки еще и еще раз он просматривал стрелки и приметы, чтобы без ошибки определить нужную группу деревьев и найти «сосну Круминьша», отмеченную зарубкой оперативного работника рижского розыска.

При осмотре места происшествия Грачику не на кого было рассчитывать: по утверждению рижской милиции обитаемы были только две мызы на дальнем от места преступления северо-западном краю острова и одна полуразрушенная мыза в середине острова. Завтра, едва встанет солнце, Грачик начнет осмотр острова. Был уже поздний час, когда «Звайгзне» заерзал своим потертым бортом о пристань у Северной протоки, соединяющей Лиелупе с озером Бабите.

Бабите?..

Почему это название знакомо Грачику?

Да, ведь Кручинин, планируя идиллическое плавание на пресловутом «Луче», собирался тут поохотиться!

Грачик был тут именно на охоте. Как и во всякой другой охоте, успех зависел от того, какие следы охотник обнаружит на острове. Вот где понадобится острота глаза, опыт следователя, настойчивость и тонкость восприятия едва уловимых мелочей, вопреки воле преступника остающихся на его пути к месту преступления и при бегстве от него.

Теоретически Грачик ясно представлял себе путь правонарушителя от замысла к свершению. Это было вороватое движение по извилинам узкой тропы, пролегающей между пропастью сомнений и миражем успеха. А обратный путь преступника от места преступления Грачик представлял себе в виде бегства в кромешной тьме страха перед возмездием.

В том, что преступник-убийца существовал в деле Круминьша, Грачик почти не сомневался. Но личность убийцы в данном случае интересовала Грачика не в качестве главного трофея расследования. Самым важным трофеем охоты, ради которой Грачик шел теперь в сумерках с рюкзаком и ружьем за плечами, была истина. Истина была предметом борьбы между врагами, стремившимися скрыть ее от советского народа, и Грачиком, обязанным ее обнаружить. Истина была трофеем этой борьбы. Важным трофеем. Не только потому, что ее открытие отдавало в руки правосудия преступника-убийцу и это приводило его к заслуженному наказанию. Важнее было то, что открытие истины отдавало на суд народа его врагов, стоявших за спиной физического убийцы Круминьша. Это были враги латвийского народа, СССР, враги всех миролюбивых людей земного шара. Логически рассуждая, Грачик приходил к тому, что преступление, по следам которого он должен был пройти, было хотя и очень маленькой, но неотъемлемой частью тайной войны против СССР, частицей плана разжигания неприязни против лагеря демократии. В самом деле, к чему стремились вдохновители убийства Круминьша? К тому, чтобы помешать прибалтам, заблудившимся в проволочных загонах для «перемещенных», найти дорогу на родную землю. Найти теперь и показать миру преступников значило пригвоздить к позорному столбу подлинных изменников родины, врагов мира – главарей эмиграции. Погоня за преступниками, ради которой Грачик вошел сейчас под сумеречные своды прибрежного бора, была не чем иным, как активной борьбой за мир. Это была война с войной. Грачик, как солдат, шагал с мешком за спиной, с ружьем на плече, устремив настороженный взгляд на неохотно расступавшуюся перед ним полутьму леса. Сошедшиеся плотным строем высокие сосны уступают ему дорогу нехотя, хватают его за плечи, за лицо, иногда больным ударом пытаются остановить или даже заставить повернуть вспять. Неужели же лес против него, против того дела, которому он служит, против правды, которую он ищет? Нет, Грачик не мог воспринимать встающие на его пути препятствия как враждебность. Ведь то был свой, родной лес, почему-то не желавший, чтобы человек с тяжелым мешком за плечами прошел сквозь него к реке. Быть может, он с дружеской грубоватостью великана предупреждал об опасности?

Ночь быстро опускалась на землю. Сквозь вершины леса уже не было видно недавних отсветов заката. Сами вершины эти растворились в черной вышине. Небо легло на лес и густою чернотой просачивалось между стволами к подножьям деревьев.

Женщина со старой мызы

На берегу широкой протоки, ведущей от главного русла Лиелупе к озеру Бабите, царила кромешная тьма. Грачик с трудом отыскал перевоз. Дом паромщика оказался пустым, хотя дверь его и была отворена. Паром стоял привязанный цепью к свае. Грачик присел на пенек. «Не устроиться ли на ночь в доме, – подумал он, – или лечь прямо на берегу под защитой деревьев?»

Его вывел из задумчивости хруст веток под чьими-то шагами. Шаги медленно приближались. Они казались неуверенными, словно человек шел спотыкаясь и поминутно останавливался. Грачик всмотрелся в темноту, откуда слышался этот шум. В промежутках между деревьями, еще более темных, нежели стволы прибрежных берез, показался неясный силуэт человека. Когда очертания его стали определеннее, Грачик понял, что это – женщина. Она медленно подвигалась от дерева к дереву. Грачику показалось, что она придерживается за стволы. Теперь было отчетливо слышно прерывистое дыхание, словно путница не могла отдышаться после быстрой ходьбы или тяжелой работы. Не замечая Грачика, женщина приблизилась к дому перевозчика и что-то проговорила по-латышски. Она несколько раз стукнула в створку распахнутой двери, подождала и, не получив ответа, так же пошатываясь, пошла к берегу и что-то прокричала. К кому она обращалась, Грачик не видел. Но вот опять раздался ее протяжный призыв:

– Лудзу, лудзу! – и через минуту снова: – Лудзу, лудзу!⁶

Это звучало необычайно жалобно. Грачик подумал, что выкрикнутые ею перед тем несколько слов должны были быть очень убедительны: вероятно, просьба перевезти ее на ту сторону протоки. Вот опять такое же жалобное «лудзу, лудзу!» огласило погруженную во тьму окрестность реки, и, дробясь долгим эхом, понеслось над ее поверхностью: «Лудзу, лудзу!»

Грачик вышел из скрывавшей его тени и, приблизившись к женщине, спросил, чего она хочет. Несколько мгновений она глядела на него, словно бы не понимая вопроса, потом с трудом ответила:

– Хочу туда... – и показала на противоположный берег протоки. Грачику показалось, что она с трудом подняла руку для этого указания, и рука ее тотчас упала.

Грачик напрасно вглядывался в темноту, пытаясь разобрать, к кому зовет женщина. Он собирался уже присоединить свой голос к ее зову, но тут послышался стук весел в уключинах и журчанье воды, рассекаемой носом лодки. Через несколько минут Грачик следом за женщиной сел в подошедшую лодку. Сильными ударами весел гребец удерживал лодку против быстрого течения, сносившего лодку к озеру. Женщина молчала. Она вся сжалась на корме. Голова ее, словно в отчаянии охваченная руками, почти лежала на коленях. Грачик не мог оставаться равнодушным к горю женщины, очевидно, настолько тяжелому, что она не владела собой. Глядя на смутную массу темного берега, к которому они приближались, Грачик представил себе, как эта несчастная пойдет сейчас куда-то совсем одна, с трудом передвигая плохо слушающиеся – то ли от усталости, то ли от недомогания – ноги.

Днище лодки зашуршало по песку отмели. Грачик протянул руку, чтобы помочь спутнице выйти. Она тяжело оперлась на его руку идохнула ему в лицо запахом винного перегара. Это было так неожиданно и отвратительно, что Грачик, помимо воли, отдернул руку. Женщина покачнулась и упала на колени в мокрый песок. Грачику стало неловко. Преодолевав отвращение, он снова протянул ей руку и заставил себя вывести женщину на крутой взгорок берега. Подниматься было трудно. Ноги увязали в осыпавшемся мягком песке. С каждым шагом женщина все тяжелее опиралась о руку Грачика, почти повисла на ней.

⁶ Лудзу – пожалуйста (по-латышски).

На гребне береговой дюны было так же темно, как внизу. Идя за женщиной, Грачик то и дело оступался или спотыкался о корни деревьев. Быть может, под действием свежего ветра на реке или потому, что ей удалось взять себя в руки, но теперь его спутница двигалась куда уверенней. По-видимому, она хорошо знала дорогу в глубь острова. По сторонам не было видно никаких других дорог или тропок. Они шли довольно долго. Все вокруг выглядело бездонной чернотой бездной без начала и конца. Наконец, на фоне неба, едва отсвечивающего от таких же темных вершин леса, стали видны очертания высокой крыши. Через несколько десятков шагов путники вышли на небольшую прогалину между опушкой леса и живой изгородью из сирени, окружавшей двухэтажный дом. Он казался необитаемым. Но женщина уверенно толкнула дверь, и скоро в окошке забрезжил слабый свет. Еще через минуту на пороге показалась она сама и коротко бросила в темноту, где стоял Грачик:

– Лудзу!

Это слово звучало теперь совсем по-иному, нежели на берегу.

По кровле уже стучал дождь, и после некоторого колебания Грачик вошел в дом. Здесь при свете керосиновой лампы Грачик рассмотрел свою спутницу: мелкие, ничем не примечательные черты лица, нездоровая одутловатость под глазами, ни ярких красок, ни броских примет. Светлые волосы были острижены, как у большинства местных женщин, – коротко, со следами завивки на концах. Сбросив плащ, женщина осталась в простеньком сером костюме и в клетчатой бумажной блузке. Теперь в этом костюме и в большом спортивном кепи, сдвинутом на затылок, она показалась Грачику несколько более привлекательной. Она сняла кепи и небрежно отбросила его прочь. В жесте было столько залихватской уверенности, что Грачик с интересом проследил полет кепи: оно упало точно на середину комода. При этом Грачик не мог не обратить внимания на своеобразный покрой шапки, на ее «спортивность», подчеркнутую большими клапанами для ушей. Такие кепи Грачик видывал только на картинках иностранных журналов. И материал кепи был необычен: нарочитая грубость ткани сочеталась с элегантностью.

Пока женщина оправляла перед зеркалом волосы, Грачик оглядел комнату. Здесь также не было ничего приметного. Обстановка скромная, почти бедная. Выделялось одно только зеркало, по-видимому, очень старое и дорогое, в резной золоченой раме. На подзеркальнике – несколько баночек и коробка из-под пудры, без крышки, с торчащим наружу непомерно большим и замусоленным пушком.

Тут Грачик заметил, что в зеркале хозяйка дома не столько рассматривает свое отражение, сколько изучает наружность гостя. Покончив с прической, она порывисто повернулась. При этом она локтем сбила с подзеркальника тюбик с кремом. Грачик поспешил его поднять, но женщина, словно в испуге, отняла тюбик и сунула его за коробку с пудрой. Если бы не эта торопливость, Грачик, вероятно, и не обратил бы внимания на этот тюбик. Но тут его внимание задержалось именно на нем. Грачик заметил яркие красные полосы поперек тюбика и даже прочел название крема: «Nivea». Грачик понюхал свои пальцы: от них приторно пахло кремом.

Между тем женщина сказала по-русски, не очень чисто выговаривая слова:

– Вы будете пить чай? – Тут странная усмешка пробежала по ее губам, и она добавила: – А может быть, не чай?

Эта усмешка, в сочетании с вопросом, в тоне которого Грачику послышалось что-то нечистое, снова возбудила в нем давешнюю брезгливость, и он отказался от чая.

Нашупав в темных сенях приставленное к стене ружье, он направился к выходу.

– Большой дождь, – сказала хозяйка и толчком ноги отворила дверь.

Из-за порога потянуло неприветливой сыростью леса, и в сени ворвались косые струи дождя. На миг Грачик приостановился, но, почувствовав прикосновение плеча подошедшей хозяйки, решительно шагнул в темноту. Он был готов к тому, что всю ночь придется продрогнуть в мокром платье. Но еще прежде, чем неожиданно грянувший дождь успел как следует

смочить куртку Грачика, ливень перешел в мелкий дождь и скоро прекратился совсем. Над лесом чернело ясное, вызвездившее небо. Где-то очень далеко сверкнула зарница. Выходил месяц. Его слабый блеск проникал сквозь вершины сосен, и на посветлевших лесных прогалинах наметились тени.

Грачик давно сошел с дороги, по которой давеча брел следом за женщиной. Он пробирався теперь на север, где, по его расчетам, должна была быть Лиелупе. Скоро он действительно достиг берега, но это не было главное русло реки, а лишь продолжение той же протоки. Берег был обрывистый, высокий и, судя по тому, как он светился в слабых лучах низкого месяца, песчаный. Далеко под ногами лежало зеркало затихшей воды. Притих и лес. Только падали время от времени скопившиеся на ветвях капли. Они мягко шуршали, словно кто-то осторожно ворошил устилавший землю ковер старой хвои. Грачик долго стоял и глядел в воду. Чем полней он впитывал тишину спокойной реки и уснувшего леса, тем более странной и страшной, несовместимой с радостью жизни, казалась ему причина собственного пребывания здесь. Над головою – это небо, вокруг этот лес, на далеком берегу – огоньки промышленного комбината, а тут... Тут – он для того, чтобы пройти по следам молодого человека, окончившего жизнь в петле...

Самоубийство... Отвратительное слово! От него веет чем-то отжившим, чужим, враждебным. Каким трудным и запутанным должен был быть путь Круминыша, чтобы привести его к такому концу! Какой ненавистью к жизни, граничащей с отвращением к самому себе, должна была быть отравлена его душа, чтобы заставить наложить на себя руки... Самоубийство?... Да, формально так. Какие у Грачика основания не доверять тому, что написано в предсмертном письме Круминыша? Ведь повторная графическая экспертиза не нашла изъянов в почерке. Правда, рука автора была неустановившейся – случай, когда почерк в характерных своих штрихах часто меняется. Он мог зависеть от душевного состояния субъекта, от степени покоя или торопливости, с которыми он пишет, подчас даже от времени суток: утреннее письмо такого повышенно-нервного человека может быть непохоже на вечернее. О наличии тут подобного случая говорили те немногие образцы, какие удалось раздобыть следствию. Особенно показательна была записная книжка Круминыша – нечто вроде лаконичного дневника, начатого и брошенного. Одни записи в нем были графически совсем непохожи на другие.

Привычка хвататься за сомнение в подлинности документа заставляла Грачика прислушиваться к каждому замечанию специалистов. Он старался присутствовать, когда эксперты занимались этим письмом. Он жадно следил за выражением их лиц, за покачиванием головы, за каждым жестом, который мог бы выдать ему их сомнения или уверенность. Словно сами они были подследственными. Заставляя эксперта по два и три раза возвращаться к одному и тому же месту, переходя от одного специалиста к другому, прибегнув ко всем известным криминалистике физическим способам исследования, Грачик наконец вынудил экспертизу снять ее прежнее заключение об отсутствии данных о фальсификации письма. Мнения экспертов разошлись: подложность стала так же вероятна, как и подлинность. С точки зрения Грачика, это было шагом вперед, так как работало на его версию инсценированного самоубийства.

Ночь на месте происшествия

Отправляясь на остров, Грачик захватил фотокопии некоторых документов, относящихся к первому осмотру места происшествия и трупa. Теперь он вытащил эти копии и осветил их карманным фонариком. Но он его тут же поспешно выключил: так невыносим был ультрацивилизованный глянец фотобумаги на фоне первозданной черноты угрюмого бора. Спрятав снимки, Грачик принялся собирать валежник и, преодолевая нежелание отсыревших веток гореть, разжег костер. Темнота расступилась и образовала уютный круг красноватого тепла. Грачик не спеша устроил таганок из рогатых сучков и повесил котелок с водой для чая. В костер сунул несколько картофелин. Лишь разостлав поверх плаща одеяло, он снова вынул фотографии документов. В который уже раз он просматривал их, ища нового, что, может быть, пропустили эксперты. И, в который уже раз, вынужден был говорить себе, что ничего нового в них нет. Вот и последняя фотография – воспроизведенное в натуральную величину предсмертное письмо Круминыша. Неровные строчки разбегались, выведенные очень мягким карандашом. Линия, оставленная графитом, была широкой, словно немного расплывшейся... Вот тут карандаш Круминыша сломался: характерная черточка над неоконченной буквой и продолжение слова, написанное заново очиненным карандашом. Да, карандаш был очень мягок: вон как быстро утолщается линия графита по мере писания. Скоро она превращается в такую же толстую, как прежде...

В снимках вещей, обнаруженных в карманах Круминыша, воспроизведен карандаш, лежавший в его записной книжке. Отчетливо видна надпись: «фабр. Сакко и Ванцетти», далее изображение звездочки, потом слово «Тактика», снова звездочка и за нею «2М-53». Грачик знает эти карандаши: плохие, жесткие, едва ли достойные носить имя таких шефов, как героические итальянцы. Притом «Тактика» обыкновенный черный карандаш, а в легенде к снимку с письма сказано: «химический». К тому же карандаш из записной книжки Круминыша, судя по снимку, остро очинен. Из всего следует, что письмо написано другим карандашом.

А ну, посмотрим еще раз перечень того, что было найдено в карманах повесившегося: нет ли там перочинного ножа, которым Круминыш чинил свой второй карандаш? Чтобы очинить его до такой остроты, каким он стал после поломки, нужен очень острый нож или по крайней мере лезвие безопасной бритвы...

Нет, ни того, ни другого у Круминыша не было...

Грачик уже был готов сделать вывод: к моменту повешения у Круминыша не было ни того карандаша, каким написано письмо, ни острого орудия для заточки карандаша. Это – два вывода в пользу того, что письмо было написано не на месте смерти Круминыша. Грачику хотелось добавить: «и не им самим!» Он был близок к тому, чтобы его сомнения в подлинности письма Круминыша перешли в уверенность. Фотокопия письма лежала у него на коленях, и красноватые блики костра, казалось, приводили в движение строки. Они бежали перед Грачиком, вызывая странное ощущение оживающих слов: «...целую святую землю отцов, прощаюсь с вами, мои бывшие товарищи...»... Неужели такие слова могли выйти из-под руки фальсификатора?.. А призыв к Силсу никогда не сходить с тропы честного человека и сына своей страны?.. Но в каком бы противоречии ни стояли эти строки с моральным обликом фальсификатора, совершившего подлог от имени Круминыша, Грачик не мог отказаться от мысли, что к письму не прикасалась рука Круминыша.

Грачик с сожалением уложил письмо в конверт и принялся за приготовление чая. Котелок кипел, выплескивая клочья пены на костер. Угли шипели, дымились и отвечали звонкими выстрелами искр. Сдвинув котелок в сторону, к самой рогатке, чтобы он больше не кипел, Грачик выгреб из золы картофелины. Непоспешные зарыл обратно под головни. Обуглившаяся кожа пачкала и жгла пальцы; соль в щепотке сразу становилась черной. Обжигаясь, переки-

дывая ароматную крупитчатую мякоть от щеки к щеке, Грачик с аппетитом съел всю картошку. Почерневшие от золы руки обтер о хвою на земле.

Чай, как всегда на охоте, перекипел и пахнул дымом, кружка обжигала губы. Но Грачик не замечал этих неудобств, обладавших своею, им одним присущей, прелестью бивуака. Он глядел в темноту, поверх пляшущего пламени костра, поверх багровых бликов, бегающих по соснам со ствола на ствол и снизу вверх до самой кроны.

Грачик никогда не видел живого Круминыша. Никогда не сказал с ним ни слова. Но ему чудилось, что теперь он видит молодого человека тут в лесу, совсем недалеко, среди могучих деревьев, вон там, под тем суком... Ну, только этого и не хватало!.. Фу ты!..

По лесу разнесся жалобный крик, от которого нервный холодок пробежал по спине, – заплакала сова. Грачик повел плечами и зажмурился, чтобы показалось светлей, когда он откроет глаза. Но фигура, в которой ему привиделся Круминыш, не исчезла. Грачик быстро поднялся и, обежав костер так, чтобы свет ему не мешал, всмотрелся в лес. Фигура исчезла, но зато стал отчетливо слышен хруст веток, ломающихся под чьими-то поспешно удаляющимися шагами. Несколькими прыжками Грачик достиг того места, где ему в первый раз почудился человек и посветил фонарем вокруг себя на десяток шагов. Все было тихо. Только раскачивалась еще разлапистая ветка молодой сосны. При полном безветрии эта ветка могла прийти в движение лишь в том случае, если ее кто-то задел. Кто?..

Несколько мгновений Грачик стоял в задумчивости, потом раскидал костер и затоптал головешки. На минуту стало жалко пропавшей картошки, но решительно перекинув рюкзак на спину, он отошел в темноту. Сделал большой круг, потихоньку, стараясь ступать так, чтобы не производить шума, удалился от берега. На лесных прогалинах под светом месяца серебрился вереск. Тут было бы удобно устроить ночлег, но Грачик обходил такие места. Он был бы слишком хорошо виден, если бы лег тут. Он углубился в чащу. Там было совсем темно. Нащупав ногою мох, он нагнулся и сгребал его. Когда мха стало достаточно, Грачик наломал лапника и сделал постель. Костра не стал разводить. Положил ружье под бок и завернулся вместе с ним в одеяло.

Ночь оказалась свежей. Несколько раз Грачик просыпался, борясь с искушением развести костер. Но решил, пока не забрезжит рассвет – обойтись без огня. А к тому времени заснул так, что очнулся только тогда, когда яркий свет заглянул между деревьев и побросал друг на друга их перепутанные длинные тени. У Грачика ныл бок от лежавшего под ним ружья. Он подтянул ноги к подбородку и накрыл голову одеялом.

Рыбак и нож из золингена

Солнце так медленно ползло по небосводу, что казалось, будто в этот день оно вовсе не собирается завершить свой обычный путь и разогнать стелющийся по берегу туман сегодня не его обязанность. Проснувшийся и загомонивший лес разбудил Грачика. Было знобко. Он долго еще подбирал ноги и ворочался с боку на бок, стараясь согреться. Наконец он заставил себя сбросить одеяло, сделал гимнастику и сбегал на берег умыться. Свежесть воды и утренний ветерок у реки согнали остатки вялости. Костер, завтрак и кружка кофе вернули ощущение тепла и жизни. Наконец и солнце, несмотря на свою северную скупость, начало помаленьку прогревать воздух. Оставив рюкзак у корней сосны, где спал, Грачик отправился на осмотр местности.

Под обрывом у песчаного берега шуршала широкая полоса камышей. Среди них в маленькой заводи виднелся челн, грубо сколоченный из почерневших досок. От носового рыма шла длинная цепь такой толщины, что ею можно было заякорить большой пароход. Второй конец цепи был прибит огромным гвоздем к стволу могучей сосны.

Когда Грачик тронул цепь носком сапога, ее звенья издали громкий звон. Тут из-за ближнего куста показалась взлохмаченная голова старика. Он провел рукой по заспанному лицу и вопросительно поглядел на Грачика.

– Свейки! – с улыбкой проговорил Грачик. – Вы надежно крепите свою лодку.

– Топрый тень, – также приветливо ответил старик, поднимаясь на ноги. – Та, ошень топры цепошка. А пыфают люди, што и такой цепошка нишево не стоит.

– Кто же польстится на вашу посуду?

– Люти все мокут, – философски ответил старик. – Какое им тело, што старый рыпак пес лотки – не есть рыпак. Перут и конят на тот перег. Я пришла утром – лотка пропал. Где лотка? Тумал – вот эта вся, што за лотку мне осталось. – С этими словами старик вынул из лукошка, подвешенного к борту челна, нож. – На песок он его ронял или сапывал, когда шест выресывал.

– Вырезал шест, чтобы добраться на тот берег? – с интересом спросил Грачик.

– А наферно што на тот перег. Весло-то я томой уносил. Фот и вся штука. – С этими словами старик подбросил в руке нож. Грачик взял его: короткое широкое лезвие было вделано в толстую рукоятку.

– Когда вы нашли этот нож? – спросил Грачик.

Старик подумал и назвал дату.

– Вы уверены? – спросил Грачик, с волнением ожидая ответа: дата совпала с днем смерти Круминыша.

– А уж я-то снаю!

– Хороший нож, – неопределенно проговорил Грачик, не в силах отвести глаз от хорошо заметных штрихов чернильного карандаша на лезвии ножа.

– Острая ношик! – согласился старик. – Уточка вырезать мошно...

Процессуальный порядок требовал, чтобы в случае предположения, будто этот нож имеет отношение к расследуемому преступлению, он был со всеми формальностями приобщен к делу. Но внутреннее чутье мешало Грачику составить протокол и открыть рыбаку, что его нож представляет интерес для следствия. Житель этих мест, рыбак, без сомнения, знает о смерти Круминыша, он может что-нибудь сболтнуть. Именно этого Грачик и боялся. Он решил пойти на нарушение правил, зная, что придется дать в этом ответ. Вынул из кармана и подбросил на ладони свой походный нож с несколькими лезвиями и разными приспособлениями.

– Не хотите ли поменяться!.. Я вам этот, а вы мне тот.

Старик взял нож Грачика и осмотрел с выражением нескрываемого недоверия к серьезности предложения.

– Хорошая нож, совсем отличная нож, – проговорил он. – Зашем вам ее менять?

– А мне нравится ваш.

– Мошно сменять, – усмехнулся старик, – а только фы должен тогда пару кило угрей от меня сабрать в притачу.

– Угри мне не нужны, хватит этого, – и, боясь, что старик передумает, Грачик поспешно сунул его нож в карман.

Дальнейшими расспросами Грачик мало чего добился. Старик подозревал одного человека, но не мог его назвать, так как видел только один раз и то мельком в лесу накануне угона челна.

– Сторовый такой в хорошая пальто.

– А в каком пальто?

– Хороша пальто!

– А точнее не помните?

– Как не помню, я все помню.

– Так скажите.

– Я не портной, я не могу скасть. – Но, подумав, прибавил: – Очень ряпый пальто.

Грачик решил не настаивать, чтобы не дать рыбаку пищи для раздумья и разговоров о слишком любопытном пришельце. Челн рыбака скрылся за камышами, и тогда Грачик еще раз осмотрел доставшийся ему нож. Фабричное клеймо с самого начала привлекло внимание Грачика: взявшиеся за руки пляшущие человечки не нуждались в том, чтобы их ему представляли. Их родиной был Золинген.

То, что Грачик услышал от рыбака о «человеке в рябом пальто», заставило его снова проделать весь путь от берега к месту происшествия, пристально вглядываясь в почву под ногами. Ведь если неизвестный пришел к лодке от места происшествия, то где-нибудь могли сохраниться его следы. Но чем дальше шел берегом Грачик, тем меньше оставалось у него надежды на их обнаружение. Земля в лесу была покрыта толстым слоем сосновых и еловых игл. Подошва в них вовсе не отпечатывалась. Грачик даже попробовал раз-другой выдавить след собственной ноги. Ковер из игл был упруг, поверхность его тотчас выправлялась в прежнее состояние, едва Грачик поднимал ногу. Тем не менее надежда найти хоть что-нибудь снова погнала Грачика к воде. Но напрасно он до рези в глазах смотрел на песок, – на обрыве он был так сыпуч, что малейшее прикосновение ноги заставляло берег оседать целыми тоннами.

Грачик готов был уже отказаться от поисков, когда на узкой полосе песка, сохранявшего некоторую влажность благодаря близости к воде и потому более устойчивого, наконец заметил довольно ясный след ноги. С осторожностью обходя этот след, чтобы не засыпать его, Грачик двинулся дальше по берегу и скоро увидел еще несколько таких же отпечатков, оставленных длинной мужской подошвой. Рисунок следов сохранился относительно хорошо. Этому способствовала пустынность местности и защищенность от ветров. Тем не менее из-за короткого дождя последней ночью некоторые детали, разумеется, исчезли. Грачик понимал, что лишь путем дальнейшей лабораторной работы, сопоставив все следы и дополняя их друг другом, можно будет с большей точностью восстановить действительный рисунок следа. Но в этом-то он по первому впечатлению почти не сомневался: след будет восстановлен.

Все следы глядели в сторону дерева с цепью. За деревом их больше не было: человек, оставивший их на берегу, пришел не от места повешения Круминыша, а совсем с другого направления. Было ли это осторожностью убийцы или он просто шел вдоль берега, отыскивая лодку для переправы через реку, решить сейчас было невозможно. У Грачика не было с собой принадлежностей, необходимых для снятия слепка со следа. Поэтому он тщательно срисовал его и измерил.

Когда он стал измерять расстояние между соседними следами, чтобы установить длину шага, то заметил характерную деталь: след левой стопы не составлял к оси движения того же

угла, что след правой. Измерив угол той и другой, Грачик убедился: ось левой стопы составляла угол в 31 градус с осью движения, а ось правой стопы всего 28 градусов. Так как принято считать, что 30–32 градуса – нормальный угол для мужчины, то можно было сказать, что правая стопа имела неправильное положение. Шедший тут мужчина косолап на одну ногу! Это была важная примета.

Сопоставив длину шага, размер обуви и другие данные, Грачик пришел к выводу, что след должен принадлежать именно такому человеку, какого описал рыбак: большой рост, большой вес, средний возраст.

Если бы человек был молод, характер следов был бы иным. Поперечное расстояние между следами у молодежи бывает больше.

Если бы человек был стар, шаг его не был бы так велик в длину и следы были бы смазаны. Старики редко поднимают ноги с такой четкостью, как этот. Как правило, они, сами того не замечая, приволакивают ноги. Чем больше возраст, тем яснее эта деталь сказывается в ходьбе.

Одним словом, именно такие следы отлично пристраивались к сведениям, полученным от рыбака. Грачик был доволен открытием. Теперь можно было отправиться в экскурсию по острову для его осмотра.

Но, сделав было несколько шагов, он остановился. Поспешно достал добытый у рыбака нож и принялся его снова, более внимательно, разглядывать. Не похож ли этот нож на тот, которым Залинь пытался ударить Круминыша во время ссоры на берегу? Нужно поскорее предъявить его для опознания Луизе и Силсу!.. Вот будет номер, если...

Грачик побоялся довести эту мысль до конца: разве по описанию рыбака приметы широкоплечего, сильного человека не подходят к здоровому Залиню?.. Фу, какая чертовщина!.. Настоящий скандал, если рижские товарищи посмеются над московским простофилей, ломавшим копья за освобождение Залиня из-под стражи!

Но нет, нет! Этого не должно быть!

Солнце уже заканчивало свое ленивое путешествие по небу, когда Грачик почувствовал, что нуждается в отдыхе. Он с удовольствием устроил привал посреди двора большой заброшенной мызы. Она имела такой вид, будто хозяйева, покидая ее, не оставили надежды сюда вернуться. Ставни на окнах были тщательно закрыты, поперек ворот амбара – набита доска. Все имело необитаемый, но вместе с тем не безнадежно запущенный вид. Двор не был захламлен, кусты живой изгороди, окружавшей усадьбу, носили следы не столь уж давнего прикосновения ножниц. Камышовая крыша, первое, что выдает своими прорехами осиротелость жилья, была в порядке.

Грачик приготовил хворост для костра посреди двора и поднял крышку колодца, чтобы набрать воды. Ни цепи, ни веревки на вальке не оказалось. Грачик оглядел двор в надежде понять, где могла быть спрятана колодезная веревка. Ничего подходящего не было видно. Он вернулся к колодцу с намерением опустить крышку, и тут его взгляд упал на гвоздь, вбитый с внутренней стороны сруба так, словно к этому гвоздю и должна была крепиться веревка, которую искал Грачик. И действительно, на гвозде виднелся узел. Но почему-то веревка не была смотана в бухту, как это делают рачительные хозяйева. Тонкая, но прочная, крученая веревка уходила в темную глубину колодца. Грачик осторожно потянул ее. Если к ней подвешено ведро, то оно несомненно находилось под водой: бечева легко выбиралась. Но вот раздался легкий плеск, и Грачик мог с уверенностью сказать: ведра на бечеве не было (она по-прежнему поднималась довольно легко), подвешенный к ней груз был невелик.

Предмет, завернутый в тряпку и крепко обвязанный бечевой, был на ощупь похож на пистолет. Грачик быстро размотал мокрую тряпку. В руке его действительно оказался пистолет «вальтер». Он был густо смазан, и запах смазки показался Грачику странным. Она была похожа на дамский крем.

В обойме, вложенной в рукоять пистолета, не хватало трех патронов. Но к пистолету была привязана еще одна полная обойма. Поразмыслив, Грачик решил, что не следует оставлять пистолет на месте. Он спрятал «вальтер» в рюкзак и, подобрав на дворе кирпич подходящего веса, обернул его тряпкой и опустил сверток в глубину сруба. Очевидно, рано или поздно владелец пистолета вернется за оружием, и если будет установлено наблюдение за этим колодцем, владельца пистолета не трудно будет задержать. Раз он спрятал его, да еще тщательно смазав, то есть с очевидным намерением сохранить в боевой готовности, – значит это не такой уж хороший человек.

Рассуждая таким образом, Грачик покинул хутор, так и не разведя костра. Через два часа он был уже на пароме, перевозившем его на материковый берег протоки. Еще одна проверка жителей острова, немедленно произведенная районной милицией, ничего не дала для суждения о том, кому мог бы принадлежать пистолет. Все жители были известны и не возбуждали подозрений. По крайней мере у милиции. Даже одинокая женщина, показавшаяся Грачику подозрительной, не возбуждала интереса у начальника района.

– Если брать за шиворот всякого, кто пьет, то придется сунуть под замок половину республики, – неприязненно сказал он Грачику.

«В том числе тебя самого», – подумал Грачик, глядя на свинцовые глаза начальника и на подозрительную синеву жилок на его носу. Но вслух только спросил:

– Документы этой Минны Юдас зарегистрированы и проверены?

По-видимому, и этот вопрос показался обидным начальнику района:

– Может быть, вы полагаете, что мы здесь, в глухой провинции, вообще не знаем своего дела?..

– Ничего не бывает «вообще», – в свою очередь рассердился Грачик, – существенно то, что конкретно, вроде этой пьяницы Юдас. – Он махнул рукой и поехал в Ригу с намерением там добиться более тщательной проверки немногих людей, оставшихся на острове, их прошлого, связей.

Старый коллега просит услуги

Уполномоченный Совета по делам религиозных культов Ян Петрович Мутный – рыжеватый блондин большого роста и крепкого сложения, с лицом такого цвета, словно он только что вышел из парильного отделения бани, – был человеком, вполне уверенным в своих достоинствах. То, что судьба занесла его в скромную контору на бульваре, где помещался Совет, представлялось Яну Петровичу досадным и лишь временным искривлением в его жизненном пути. Несколько извилистая дорога карьеры вела его к высотам, где не придется скучать над протоколами приходских советов или просьбами каких-то старух об открытии заброшенной церкви; не придется быть ходатаем перед советской властью за бледных бездельников, лишенных помещения для католической семинарии. Туда, куда были устремлены мечты Яна Петровича, не являются с визитами дружбы раввин и мулла; там не нужно отвечать за сборища баптистов и жать руки попам всех категорий и исповеданий. Одним словом, там жизнь его станет несложной и ясной, какой ему представлялась жизнь всякого, кто «достиг». Там, по мнению Яна Петровича, нужно только уметь приказывать с таким видом, будто ты уверен в безошибочности своих приказов.

В чаянии сугубой временности пребывания в Совете культов, Ян Петрович не обременял себя углублением в тонкости религиозной области, с которой приходилось соприкасаться. Он не читал ничего, кроме официальных писем из Москвы, и, как заразы, чурался не только старых изданий всякого рода религиозных организаций, но и тех работ о состоянии церковного фронта за рубежом, какие время от времени попадали к нему на стол.

Островом успокоения в море житейской суеты и непостоянства была для Яна Петровича его квартира – пять комнат на Александровской (именно на Александровской, а не на Бривибас и не на улице Ленина: Ян Петрович про себя всегда называл улицы по-старому, как они уложились в его сознании за десятки лет жизни в этом городе). Там, в этих пяти комнатах, царила благоговейная тишина, не нарушаемая крадущимися шагами полуглухой работницы. Старуха, как тень, скользила войлочными туфлями по глянцу паркета, навощенного до того, что он казался стеклянным.

Жена Яна Петровича, Бела Исаковна Беленькая, была женщиной молчаливой до мрачности. Так же, как он сам, она была довольна холодной тишиной квартиры. Она охотно поддерживала культ навощенного пола, накрахмаленных салфеточек на буфете, кружевных накидок на подушках широчайшей постели, прозрачных и твердых, как матовое стекло, оконных занавесей. Казалось, под суровым взглядом Белы Исаковны сами начинали блестеть огромный письменный стол, к которому никто никогда не присаживался; хрустальные бокалы на серванте, из которых никто никогда не пил; крышка рояля, на котором никто никогда не играл. Ян Петрович и Бела Исаковна в полном согласии друг с другом полагали, что порядок, тишина и крахмальный тюль занавесок, отгораживающий их от улицы, – это лишь малая доза награды, какая им причитается. Когда-нибудь народ еще возблагодарит их за невзгоды прошлого. Нужно было только набраться терпения и ждать.

Нужно отдать справедливость Беле Исаковне: на людях она не кичилась ни нынешним своим благополучием, ни положением своего мужа, как это свойственно некоторым, менее сознательным дамам. Единственным предметом ее искренней гордости, о котором не стыдно бывало иногда и напомнить, было для нее собственное прошлое. Не каждому довелось быть избитым в мрачном подвале рижской полиции, а ей пришлось побывать там и получить не один удар пряжкой солдатского пояса. Правда, ее скоро оттуда выпустили, так как выяснилось, что она была схвачена по ошибке, не имея в действительности отношения к студенческому кружку марксистов. Но, как это бывает с людьми, по мере движения времени одни обстоятельства стираются в памяти, другие остаются. Для нее стало ценным и дорогим воспоминание о трех

днях, проведенных в полиции, твердый шрам на бедре – след удара пряжкой полицейского пояса.

Ян Петрович не чуждался того, чтобы на людях подчеркнуть свое пролетарское происхождение и трудовое прошлое. Он со сдержанностью, приличной положению и возрасту, изредка напоминал, как на широкой мускулистой спине поднимал по три пятипудовых мешка, когда был грузчиком в Лиепайском порту. Он ел все самое простое, что значилось в меню столовых, но дома с аппетитом обсасывал кожицу жирного угря, купленного из-под полы у рыночного спекулянта. Ни на людях, ни дома Ян Петрович демонстративно не пил ничего, кроме жидкого чая да по стакану кефира утром и вечером. Если ему хотелось выпить, как пивали когда-то лиепайские грузчики, он делал это так, что на другой день после возвращения «из района» даже Бела Исааковна слышала у него изо рта только запах жженого кофе.

При поддержке Белы Исааковны Ян Петрович вбил себе в голову, что никто не является в такой мере честным, последовательным и твердым защитником завоеваний революции и советской власти, как именно он. И уж подавно только он, и никто иной, стоит на страже политики партии в области культов. А так как политика партии в сложной религиозной области – лишь часть общей, еще более сложной политики внутри страны и за ее пределами, то Ян Петрович без запинки делал вывод: он, товарищ Мутный, призван блюсти интересы Советского государства и партии во всех областях жизни. Пока, находясь еще в Совете культов, он делал, правда, оговорку «когда тому придет время», но для его убежденности в своей высокой общественной ценности эта оговорка не была пороком. Она не вносила диссонанса в его душевный покой. Время для проявления всех его качеств политического деятеля и администратора высокого полета должно было вот-вот прийти: опостылевший Совет культов казался уже пройденным этапом. Со дня на день должно было состояться обещанное выдвижение Яна Петровича на пост руководителя промысловой кооперации. Дело было только за тем, чтобы собрался съезд кооператоров и дружно избрал его. Почему Яна Петровича влекло кресло руководителя кустарей? Да прежде всего потому, что, как ему казалось, из этого кресла он сможет попасть в следующее – повыше: в Совет профсоюзов. А разве не там, в профсоюзах, куются кадры? Чьи это слова: «Профсоюзы – школа коммунизма»? То-то! Вторым доводом, который он держал про себя, не высказывая его даже Беле Исааковне, было то, что именно в промысловой кооперации была заложена бездна возможностей для устройства быта. Кого-кого и чего-чего только там не было?!

Голова Яна Петровича бывала высоко поднята, походка тверда, движения солидно неторопливы, когда он совершал свою краткую утреннюю прогулку от квартиры до Совета. Иногда он позволял себе остановиться перед ювелирным магазином. Правда, только в том случае, если на улице виднелось не слишком много прохожих и среди них не было знакомых. За минуту – другую его вспыхивающий жадным блеском взгляд успевал обежать витрину. Все, что было на выставке, оказывалось мысленно оцененным и как бы зарезервированным на «лучшие времена», когда он или Бела Исааковна смогут без стеснения войти в этот магазин и взять все, что им понравится. Ян Петрович был почему-то уверен, что именно такая возможность явится одною из черт грядущего коммунизма, за участие в построении которого латышский народ все еще не отблагодарил его.

Если Ян Петрович стеснялся надолго задерживаться возле ювелирторга, то уж около книжного магазина он простаивал подолгу, хотя это и не доставляло ему удовольствия. Но нужно было, чтобы там его увидело хотя бы несколько служащих, спешивших на работу в соседнее здание Совета министров. Не прочитав за свою жизнь и десятка романов, Ян Петрович мог при случае перечислить массу названий, намозоливших ему глаза в витрине. Утвердив таким образом свою репутацию любителя изящной словесности, Ян Петрович степенно входил в подъезд большого жилого дома, где в скромной квартире помещался Совет культов. Там он сохранял строгость и солидную неторопливость с девяти утра до шести дня.

Он не видел никакой надобности менять в себе что-либо и из-за того, что сегодняшний посетитель, назвавший себя секретарше Антоном Стродом – представителем общины верующих католиков из Илуксте, вошел в его кабинет более развязно, чем входили обычно такого рода посетители. Строд положил помятую шляпу на стол Мутного и, прежде чем заговорить, подождал, пока уйдет секретарша. Но даже это не произвело на Яна Петровича особого впечатления. И только тогда, когда Строд наконец налег грудью на стол уполномоченного и тихо спросил, узнает ли его Ян Петрович, тот ощутил беспокойство. Вглядевшись в черты посетителя, он не нашел в них ничего знакомого. Нет, жизненный путь Мутного никогда не скрещивался с жизненным путем человека, назвавшего себя Стродом. Тем не менее смутный страх шевельнулся в душе уполномоченного. Он сделал рукой неопределенное движение, не то отвергая возможность этого знакомства, не то предостерегая посетителя от слишком громкого разговора.

Строд без возражений перешел на полупшепот:

– Я вынужден освежить вашу память: союз портовых рабочих в Лиепае, связанный с социал-демократами. В активе союза был один человек по имени... – Строд на секунду умолк, испытующе глядя в лицо Мутного. Маленькие серые глазки уполномоченного испуганно забегали, потом укрылись за полуопущенными веками. Его красное лицо стало совсем пунцовым, но он продолжал молчать, словно лишившись дара речи. Тогда Строд, полагая, что не все еще ясно, договорил: – Разве того человека не звали Ян Мутный? – Потом одно за другим были произнесены имена социал-демократов, главарей желтого профсоюза, которых не мог не знать Мутный. При каждом имени посетитель загибал палец на руке, бесцеремонно протянутой над столом, к самому лицу Мутного. Но тот, казалось, уже не слышал ничего. Он, как зачарованный, смотрел на толстые пальцы Строда, постепенно сжимавшиеся в кулак. Они исчезали, как падающие веки на пути к спасению. Яну Петровичу казалось, что в мозгу у него вдруг образовалась какая-то пробка, мешающая течению мыслей. Он силился думать о том, что же следует теперь предпринять, и не мог сдвинуться с места. Мысль вертелась все на одном и том же глупом пункте: «Какие у него большие и грязные пальцы... Боже, какие грязные пальцы!...» А Строд, казалось, угадывавший то, что творилось в трусливой душе этого большого, такого сильного на вид человека, беспощадно шел к цели. Он напомнил о забастовке лиепайских грузчиков и о роли тех, кто ее сорвал. О жертвах полиции, беспощадно разделившейся с членами коммунистической оппозиции, и о роли «одного товарища», виновного в провале этой оппозиции. Строду было теперь безразлично, поверит ли Мутный, будто они когда-то встречались, и тому, что сам Строд якобы был когда-то социал-демократом, и даже тому, что Строд – действительно Строд. Все это уже не имело значения. Настолько тот гость, которого в действительности звали Квэпом, знал людскую породу: желание искать у советских властей защиты от шантажа будет у Мутного подавлено стремлением спрятать концы своего прошлого, когда-то трусливо скрытого от компартии.

Будь на месте Мутного другой человек, он, может быть, пошел бы и сказал «Да, Ян Мутный виноват перед партией. В моем прошлом есть то, чего вы не знаете». Тем более, что это прошлое не преследуется законом, что оно может быть вовсе забыто. Но уже то обстоятельство, что однажды оно было им скрыто из страха, будто помешает карьере, делало такого человека, как Мутный, жертвой собственной лжи. Такова логика обмана. Маленькая ложь становится со временем глыбой, погребавшей под собою человека со всем лучшим, что в нем было, что еще оставалось и что еще могло в нем быть. Христианский постулат о существовании «лжи во спасение» – сам по себе такая же ложь. Все это хорошо известно всякому шантажисту. А шантаж – одна из отраслей профессии Квэпа. Поэтому Квэп и был уверен: Мутный не донесет. Он никуда не пойдет и окажет Квэпу услугу, о которой тот попросит в обмен на молчание.

– В Совете промкооперации, – сказал Квэп, – вас уже считают своим и охотно выполняют вашу пустяковую просьбу устроить меня на такую работу, чтобы я мог разъезжать. Инструк-

тор-организатор или инспектор... Обещаю никогда не посрамить вашей рекомендации, – с кривой усмешкой сказал он. – И уж, разумеется, всегда готов исполнить все, что прикажете. – Квэп, прищурившись, посмотрел в испуганно бегающие глазки Мутного и вздохнул: – А ведь мало ли что может понадобиться человеку? Даже такому большому, важному и честному человеку, как Ян Петрович Мутный... Подумайте: пустяковая услуга старому коллеге и... покой навсегда.

Вечером дома Ян Петрович вел себя несколько необычно. Его состояние показалось Беле Исааковне настолько странным, что она даже заподозрила – уж не заболел ли он? Она предложила ему лечь, но он продолжал медленно ходить по натертым паркетам квартиры и блуждающим взглядом следил за тем, как дробится в их стеклянno блестящей поверхности его отражение. Отражение то становилось непомерно длинным, то сжималось до роста карлика. Но всегда оставалось отвратительно уродливым. Ян Петрович всматривался в него так долго, что закружилась голова.

Когда он улегся в постель, в мозгу продолжал, как раскаленный гвоздь, стоять один и тот же вопрос, который Ян Петрович напрасно пытался решить с момента ухода «Строда»: станет ли ему легче, если он скажет о случившемся Беле Исааковне?.. Но ведь если он расскажет об утреннем визитере, то придется рассказать и о том, чего она не знает: о прошлом, имеющем к революции лишь то сомнительное отношение, какое имела вся деятельность социал-демократических профсоюзов в буржуазной Латвии. Правда, жена – не партия. У нее нет власти отобрать у него партбилет. Вместе с мужем-лгуном и сама Бела Исааковна стала бы предметом общественного осмеяния: кто же поверит тому, что за пятнадцать лет совместной жизни она не узнала прошлого собственного мужа... И тем не менее Яну Петровичу было страшно: а что если Бела Исааковна пойдет и скажет все?..

Поворочавшись с боку на бок так, что Бела Исааковна снова спросила, не болен ли он, Ян Петрович наконец уснул.

Наутро он встал, как обычно, – спокойный, уверенный в себе. На службу шел неторопливой походкой с высоко поднятой головой. Постояв у окна ювелирторга, перешел к витрине книжного магазина, пока мимо него не прошло несколько знакомых из Совета министров. Тогда он степенно вошел в подъезд Совета культов.

Пансион «Эдельвейс»

Распорядок дня в «Эдельвейсе» был таков, что у обитательниц не оставалось времени на что-либо иное, кроме занятий, составлявших курс обучения в школе шпионажа и диверсий, прикрытой вывеской этого пансиона. Больше того, распорядок был составлен с таким расчетом, чтобы утомить «пансионерок» и убить у них самое желание заниматься чем-либо посторонним: подъем в шесть утра, к десяти вечера все лампы погашены; в течение дня полтора часа предобеденного отдыха. И даже то, что отдых давался не после обеда, а перед ним, должно было препятствовать появлению вредных мыслей, рождающихся на сытый желудок. К тому же отдыхать после еды значило нагуливать тело. А учащиеся должны были сохранять спортивную форму, подвижность и приятную внешность.

У большинства учащихся «личное» ограничивалось чтением легких романов, обсуждением виденных снов да время от времени ссорами, всегда происходящими там, где чувства и мысли вращаются в замкнутом круге. Но и в ссорах Инга Селга оставалась нейтральной. Она жила так, что, за исключением Вилмы Клинт, у нее не было друзей, за которых стоило бы вступаться.

Известно, что процесс обучения в такого рода заведениях отличается от всех иных учебных заведений. В «Эдельвейсе» не было больших аудиторий, не было классов или групп, в составе которых слушались бы лекции. Общение между преподавателями и учащимися происходило едва ли не с глазу на глаз. Двойка, редко тройка – вот и весь коллектив, восседавший перед педагогом. Будущие шпионки не знали, обучаются ли их товарки тому, чему учат их самих, не знали, кто их обучает.

Впрочем, Ингу по самому ее замкнутому характеру не очень-то и интересовала жизнь других пансионерок. С нее было достаточно собственных забот: добиться у инструктора-латыша хорошей отметки по физической подготовке и стрельбе, заслужить похвалу немца-радиста или русского белогвардейца – преподавателя языков – было ничуть не легче, чем заставить американского инструктора-парашютиста уважать себя хотя бы в той минимальной степени, чтобы он не выпихивал тебя из самолета толчком ноги ниже поясницы. Инге не нравился путь, каким ее товарки снискивали расположение преподавателей, – она не позволяла тискать себя в коридорах и не ходила в садовую беседку на свидания с иностранными инструкторами. Инга была упряма, терпелива и способна настолько, что классных занятий ей хватало для усвоения предметов. Замкнутость и отсутствие друзей избавляли Ингу от просьб о помощи даже со стороны Вилмы Клинт. К удивлению однокашниц, свободное время она тратила не на чтение бульварных романов, а на книги историко-религиозного характера. Из них наибольшим успехом у нее пользовались книги, относящиеся к истории возникновения и деятельности Общества Иисусова.

Никто в этом доме, от начальницы до последней горничной, не понимал, что Инга несет свою холодную замкнутость как щит от назойливого любопытства. В школе, где она обучалась до перевода в пансион «Эдельвейс», она познакомилась с парнем по имени Карлис Силс. За спиною начальства знакомство перешло в дружбу. Дружба – в любовь. Быть может, это прозвучит для читателей странно: любовь в среде, где все усилия воспитателей сосредоточены на том, чтобы научить ненавидеть, не верить, никого не любить, ни к чему не привязываться; в среде, где хороший балл можно заработать умением неожиданно нанести смертельный удар ножом, застрелить из-за угла, отравить. Но человек – существо удивительное, полное противоречий и неожиданностей. Там, где можно ждать душевных проявлений высшей красоты и тонкости, мы видим подчас величайшее уродство и зло; и наоборот, в окружении смрада и грязи вырастают цветы нежнейшей любви и душевная красота существ, казалось, навеки обреченных тьме порока, становится предметом воспевания для поэтов. Пусть тот, кто этому не верит, вспом-

нит величайшую трагедию о любви, когда-либо показанной искусством, пусть он вспомнит Ромео и Джульетту. Или среда, где жили изображенные Шекспиром нежные любовники, была лучше той, где томились Инга и Карлис? Или кровь Монтекки и Капулетти не лилась там из-за дури, владевшей главами домов? Не пускались в ход кинжал и яд, интриги и подкуп? Не царили вокруг юных любовников обман и предательство? Не бесчинствовали тираны, добывавшие себе средства для оргий торговлей рабами? Не неистовствовала инквизиция? Чума и оспа, чесотка и сифилис не были разве такой же неременной декорацией эпохи, как мандолины и серенады? Князья не душили своих жен, папы не сожительствова-ли с юными послушниками? И все-таки осталась образцом нежного благоухающего чувства на века бескорыстная и жертвенная любовь юных созданий – Ромео и Юлии. Так почему же она не могла расцвести и ныне между двумя молодыми людьми, забывшими ласку матери, не знавшими родины, но обладающими такими же самыми сердцами, какие бились в груди Ромео и Джульетты?

Лишенные семьи с ее теплом и заботой, вырванные из нормальной человеческой среды, способной выказать немного внимания к мыслям и чувствам – ко всем проявлениям ума и сердца молодых людей, – Инга и Карлис с юношеского возраста, самого чуткого к внешним явлениям, самого восприимчивого к отраве порока, искусственно превращались в существ черствых, жестоких, лишенных каких бы то ни было интеллектуальных потребностей. И вопреки этому, вопреки воле своих воспитателей, они ко времени встречи все же оказались полны той удивительной чувствительности, когда прикосновение пальцев любимого существа заставляет звучать все струны сердца. Этого нельзя приписать лишь природному инстинкту влечения полов, потому что инстинкт в тех условиях мог бы проявиться и до плоскости примитивно. Это не было влиянием среды, потому что окружали их лица чужие, черствые, холодные, расчетливые и жестокие, порочные и беспринципные. Чувство Карлиса и Инги было закономерным проявлением жажды прекрасного, что живет с тех пор, как человек познал прелесть утренней зари и вечернего заката, красоту птичьих голосов в пробуждающемся лесу, ласковую песню рек, бодрящую силу рокота морского прибоя. Пополняемое из века в век усилиями искусства, прекрасное живет, умножается, растет и ширится, захватывая сознание людей. Жажда жизни заставила двуногое существо, питавшееся кореньями, несмотря на страх, искать битвы со зверем, пока оно не отведало мяса и не почувствовало себя сильнейшим на земле. Жажда тепла владела первобытным человеком, и он не успокоился, пока не высек пламени из кремня. Жажда красоты живет в нормальном человеке, увлекая его в мир прекрасного в чувствах и мыслях – во всех восприятиях ума и сердца.

Когда Инга узнала, что Силса отправят с заданием, она, несмотря на строгое запрещение видаться и говорить с ним, нашла его и сказала:

– Куда тебя посылают?

– Вот это чудесный вопрос! Учили тебя учили...

– Конечно, глупый вопрос, – согласилась Инга. – Но... мы же должны быть вместе?

– Должны! – ласково передразнил Силс.

– Так почему же они не могут послать меня с тобой? Разве я не могу стать твоей напарницей?

– Можешь, именно можешь, – ответил он, беря ее руки в свои. – Если бы это... – Он не договорил и потянул Ингу к себе. Но она оттолкнула его.

– Я пойду к ним, скажу им, что я...

– Молчи! – Силс в испуге зажал ей рот: – Если ты скажешь это им – нам уже никогда не видаться! Именно: никогда!

Инга прильнула к нему и зашептала торопливо, так, что он едва разбирал слова:

– Там тебя не должны поймать и уличить как преступника. Понимаешь? Ты должен ждать меня.

– Ждать тебя? – с удивлением прошептал он.

– Если они не пошлют меня, я убегу сама...

– Молчи!

– Убегу, – настойчиво повторила она. – И мы будем...

Он прижал ее к себе.

– Глупенькая... Именно глупенькая. Кто же выпустит тебя?

– Я сказала: убегу... Ты знаешь меня, Карлис. И ты должен ждать. Спрячься так, чтобы никто тебя не нашел. Только я буду знать, где ты. – Она шептала словно в забвении. Губы помимо воли произносили то, чего хотело сердце.

Силс обхватил ее шею.

– Именно, глупенькая, – ласково повторил он. – Я же буду там не один. – Он едва не произнес имени напарника, но вовремя остановился: никто, кроме двоих, засылаемых в Советский Союз, не должен был знать их имен.

– Кто?.. Скажи кто? – Ее губы касались его губ. – Кто?

И так же губы в губы он прошептал:

– Круминыш.

Она еще крепче прижалась к нему всем телом, и ее губы прильнули к его губам.

Весь дом уже спал, когда Инга неслышно прокралась в комнату, где жила вместе с Вилмой Клинт. Разделась и осторожно разбудила подругу:

– Подвинься

Вилма поняла: Инга хочет сказать что-то очень тайное. Так, лежа в одной постели и накрывши головы одной подушкой, они могли шептаться без страха, что их услышат шпионки матери Маргариты. Ни у кого из живущих в этом доме не было уверенности, что в стенах нет отверстий для подглядывания, что под мебелью или в вентиляционных решетках не стоят аппараты подслушивания. Мать Маргарита желала знать каждое слово, произносимое в доме, хотела знать все, что делают и что думают ее питомицы.

Но ни ушам шпионов, ни аппаратам подслушивания не удалось рассказать матери Маргарите, о чем шептались той ночью Инга и Вилма. Когда дежурная надзирательница, словно невзначай, заглянула к ним в комнату, обе пансионерки лежали в своих постелях и самое чуткое ухо не обнаружило бы ничего неестественного в ровном дыхании спящих.

Месяцы прошли с той ночи. Эти месяцы кажутся Инге годами. Но она помнит каждое слово, произнесенное тогда, она помнит каждую черточку в лице Карлиса Силса, которого ей больше не удалось увидеть до отъезда. Может быть, его и увезли из школы именно потому, что начальство узнало об их встречах?.. Может быть, и ее потому же перевели в этот новый пансион матери Маргариты, похожий на каторжную тюрьму? Нет, вряд ли: ведь они с Карлисом вели себя так осторожно. Она с Карлисом и Вилма с Эджином. Но вот оба они – Карлис и Эджин – исчезли в необъятных просторах Советского Союза. Что с ними? Правда ли была написана в «Цине»?

Карлис, наверно, потому и явился к советским властям, что помнил ее слова. Вероятно, было уже невозможно скрываться без риска быть убитым. Потому и явились, что хотели дожидаться ее и Вилму... И что же дальше?.. Смогут ли они с Вилмой когда-нибудь очутиться там, где Эджин и Карлис?.. Ведь если они знают про их любовь, то будут держать ее здесь или пошлют совсем в другом направлении, лишь бы она не встретилась с Карлисом. А она должна с ним встретиться. Должна!

Думать об этом Инга решает только по ночам. Днем она – по-прежнему примерная ученица. По-прежнему молчит и ни с кем не ведет дружбы. А Вилму исключили из школы и куда-то послали, когда пришел этот номер «Цини». Значит, они узнали про их любовь – Вилмы и Эджина? А ведь если они узнают и про Ингу, ее тоже пошлют куда-нибудь, куда спрятали

Вилму... Или... может быть, просто «уберут»? Тогда уже не о чем будет думать... Но пока она думает и думает; думает каждую ночь о том, как сделать, чтобы быть вместе с Карлисом?..

Карлис Силс

Вернувшись в Ригу, Грачик еще раз внимательно осмотрел все предметы, найденные в свое время на теле Круминыша. Прежде всего ему хотелось взглянуть на карандаш из записной книжки. Действительно, он оказался тонко очиненным и вовсе не химическим. Это не могло служить еще неопровержимым доказательством тому, что письмо писал не сам Круминыш: он мог и выбросить и потерять второй карандаш, химический. Но в построении версии Грачика это обстоятельство имело такое существенное значение, что он цеплялся за каждую деталь, говорящую против самоубийства.

Грачик вынул кусок шнура, взятого из колодца на острове, и стал сличать этот обрезок с веревкой, из которой было вынуто тело Круминыша. Чем внимательнее он это делал, тем больше удовлетворения отражалось на его лице. Несмотря на все уроки Кручинина, Грачик не умел оставаться бесстрастным. Очень часто – чаще чем ему хотелось – лицо его отражало радости и огорчения, какими был усеян жизненный путь.

Последним, что с интересом осмотрел Грачик, был узел, завязанный на веревке повешенного. После этого окончательно созрело решение подвергнуть тело Круминыша вторичному исследованию судебно-медицинских экспертов. Вопрос, поставленный Грачиком, был лаконичен: повесился Круминыш или был повешен?

Признаков убийства Круминыша иным способом, нежели удушение, эксперты и на этот раз не нашли.

Тогда Грачик спросил: не думают ли врачи, что имеется некоторое несоответствие положения повешенного характеру странгуляционной борозды. Рубец имеет такой вид, словно главная «нагрузка» затягивавшейся петли пришлась на переднюю часть шеи, то есть будто бы сам узел находился на затылочной части. Между тем из протокола первого осмотра явствует, что узел петли, сделанной на веревке, переброшенной через сук сосны, находился сбоку, под ухом трупа. Могла ли при таком боковом направлении затягивания петли странгуляционная борозда иметь тот вид, какой она имеет? Не может ли кровоподтек на шее у затылка быть следствием удушения, произведенного петлей, наброшенной и затянутой сзади до повешения. Кровоподтек у затылка – след узла, прижатого к шее. После того петля сдвинулась на сторону, и в таком виде убитый был подвешен к дереву. Таков был вариант Грачика. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила это мнение: каждый из двух следов, видневшихся на шее погибшего, имел свои характерные признаки: один – удушения петлей и второй – такие же признаки подвешивания; первый был ровным, второй имел след скольжения. Какова была разница во времени происхождения обоих следов? Дать категорический ответ на этот вопрос представлялось трудным. Очевидно, разница во времени появления следов была очень невелика. Но тут мнения экспертов разделились: один из них утверждал, что след удушения является *прижизненным*, а след подвешивания, судя по характеру кровоподтека, *посмертным*. Другой не решался быть столь категоричным.

Грачик поставил специалистам новые вопросы: 1) Какого происхождения может быть след крови на ногтях указательного и среднего пальцев правой руки повешенного? 2) Не является ли химический состав следов карандаша на перочинном ноже тем же, что и состав графита, которым писалось предсмертное письмо Круминыша? 3) Какая фабрика СССР производит бумагу, на которой это письмо написано? 4) Не является ли предлагаемый вниманию экспертов обрезок крученой бечевы из колодца частью того же мотка, из которого взята веревка повешенного?

Сам Грачик задался целью выяснить, принадлежал ли золингеновский нож Круминышу, был ли у Круминыша блокнот с такою же бумагой, на какой писалось его последнее письмо; имелись ли у Круминыша химические карандаши и, наконец, имел ли Круминыш пистолет

«браунинг» или «вальтер». Грачик полагал, что ответить на эти вопросы может Силс. Ведь с Силсом Круминыш прошел обучение и подготовку к диверсии, а затем нелегкий очистительный путь раскаяния и явки. Вместе с Силсом Круминыш испытал радость народного прощения и искупительного труда на советской земле. Такой путь не мог не сблизить этих людей. Об их близости могли свидетельствовать и слова предсмертного письма Круминыша, если бы... если бы Грачик не подозревал тут подделки.

Грачик с интересом вглядывался в сидевшего перед ним коренастого блондина с крупными чертами лица. Все было ясно Грачику в этом лице. Все, кроме глаз. Глубоко сидящие под выпуклыми надбровьями, они своею серо-голубой холодностью противоречили открытому выражению лица. Взгляд их становился чересчур настороженным, когда обращался на собеседника. При этом Силс старался избежать встречного взгляда.

По словам Силса, ни у него самого, ни у Круминыша не было оружия. Все, чем их снабдили при отправлении на диверсию, они сдали советским властям. Заявив это, Силс пожал плечами. Слово сам вопрос Грачика казался ему странным. Силс сидел, положив на стол крепко сжатые кулаки сильных рук, и исподлобья глядел куда-то мимо уха следователя.

– А Круминыш не мог достать оружие без вашего ведома? – спросил Грачик.

Силс продолжал смотреть в сторону и не отвечал. Грачик терпеливо повторил вопрос.

– Не мог, – нехотя ответил Силс.

– Вы уверены?

– Именно.

– Почему вы так уверены?

Вместо ответа Силс снова пожал плечами.

– Он мог спрятать оружие перед явкой к нашим властям; утаил это от вас... – настаивал Грачик. А взгляд Силса все тяжелел, глаза его делались свинцово-серыми.

– Нет. – Силс произнес это слово так, словно выложил на стол перед Грачиком чугунную гирию. – Мы ничего не утаили. Именно ничего не спрятали... Ни он, ни... я.

– В вашей-то искренности, я уверен.

Силс опустил глаза и кивнул головой.

Грачик положил перед ним нож, полученный от старого рыбака.

– Вот нож Круминыша... – сказал он так, будто не сомневался в этом. Но ему достаточно было увидеть глаза Силса, чтобы понять: Круминыш не имел к ножу никакого отношения. И все же Грачик продолжал: – Значит, запишем: этот нож принадлежал Круминышу?

И снова раздалось такое же увесистое:

– Нет.

– Ножик ваш?

– Нет.

– И вы никогда не видели этого ножа?

– Именно.

– И не думаете, что Круминыш его у кого-нибудь взял?

– Именно.

– Чтобы очинить свой карандаш, а?

– Нет.

По-видимому, Силс не принадлежал к числу людей с хорошей выдержкой. Вопросы Грачика выводили его из себя, и только природная холодность удерживала от резкости. Но Грачик намеренно настаивал на своих вопросах. Даже при доверии, какое Грачик чувствовал к Силсу, допрос оставался поединком людей, сидевших по разные стороны стола.

– Он должен был написать большое письмо, – продолжал Грачик, – а мягкий химический карандаш то и дело тупился.

– Химический? – словно освобождаясь от владевшей им скованности, спросил Силс. – У нас не было химических карандашей.

– Почему?

– Нас учили: химический карандаш расплывается от сырости. Химический карандаш, когда его чинишь, оставляет следы на пальцах... – Силс умолк. Словно ему были неприятны эти воспоминания. Лишь после некоторого молчания добавил свое: – Именно.

– Значит, можно считать установленным, что это не карандаш Круминыша?

– Именно.

– Но у него, наверно, были другие карандаши. Он же писал что-нибудь?

– Только немножко... Вилме.

– Вилме? – переспросил Грачик. – Кто такая Вилма?

– Вилма Клинт, девушка... там. – Силс взмахом руки показал на окно.

Грачик понял, что речь идет о девушке, оставшейся за рубежом.

– Значит, ей он писал?

– Именно... Только не знал, дошло ли его письмо.

– Значит, Круминыш ничего не знал о Вилме?

– Один раз пришло от нее письмо.

– Все-таки пришло?

– Через Африку и Францию. Переслал кто-то из завербованных в Марокко. Вилма писала: там читали «Циню». И все поняли: кто вернется сюда, тому не будет плохо. – Силс долго обдумывал следующую фразу. Его молчание наводило Грачика на мысль о неискренности Силса. Наконец тот сказал: – Вилма писала: она подговаривает одну девушку убежать... сюда.

– Вы полагаете, что Круминыш... хорошо относился к Вилме Клинт?

– Именно, любил.

– И она стремилась на родину? Может быть, они хотели быть вместе?

– Именно хотели, – что-то отдаленно похожее на улыбку на миг осветило черты Силса.

Но это подобие улыбки было короче чем мимолетным.

– Он говорил вам об этом? – спросил Грачик, стараясь попасть в простой, дружеский тон. Но Силс, как и часто до того, ответил только молчаливым кивком головы. Лишь после долгой паузы, подумав, сказал:

– Эджин боялся. Если они узнают, что Вилма хочет бежать, ей будет худо... Именно, очень худо. Круминыш очень боялся. И очень ждал Вилму.

– Что же, – тепло проговорил Грачик, – если так, то, значит, Круминыш хотел жить...

– Именно хотел... Потому и уговорил меня явиться. Он не хотел ни умирать, ни сидеть в тюрьме.

– И уж во всяком случае не собирался кончать жизнь самоубийством?

– Именно.

– А как все плохо получилось.

– Именно плохо. – Избегая взгляда Грачика, Силс опустил глаза на свои руки, лежавшие на столе.

– Это не повторится. Можете быть спокойны! – ободряюще сказал Грачик. – Может быть, и у вас есть своя Вилма?

Впервые за всю беседу холодные глаза Силса потеплели, и он не уклонился от испытующего взгляда Грачика.

– Именно, – тихо, словно боясь быть кем-нибудь подслушанным, повторил Силс. И еще тише: – Инга... Инга Селга.

Он подпер голову руками и несколько раз повторил: «Инга... Инга...» Когда он поднял голову, Грачик увидел, что губы Силса сложились в улыбку. Лицо принадлежало другому

Силсу – не тому, которого Грачик определил, как холодного и скрытного субъекта. Грачик улыбнулся.

– Ваша Инга тоже собирается сюда?

Губы Силса сжались, и он покачал головой.

– Они хотят бежать вместе: Вилма и Инга... Это трудно, – проговорил он, снова понижая голос.

– Кто хочет бежать – бежит.

– Один бежит, а десятерых убьют, – сердито бросил Силс.

Грачик поднялся и прошелся по комнате.

– А как вы думаете, Силс, чем можно было бы помочь в этом деле?.. Надо подумать, хорошенько подумать. Нельзя ли помочь этим девушкам стать... ну, вот, как вы с Круминьшем, – стать настоящими людьми. Это было бы так хорошо!

– Именно хорошо. Только ведь Вилма узнает, что Круминьш убит...

– Что же будет, если Вилма узнает?

– Плохо будет для Инги. Вилма горячий человек, она может испортить дело.

– Давайте подумаем об этом вместе... в следующий раз.

– Я могу идти? – после некоторого молчания спросил Силс, и голос его снова прозвучал сухо и угрюмо, словно между ними и не произошло такого дружеского разговора.

– Конечно, – согласился было Грачик, но тут же быстро спросил: – А скажите мне, Силс, теперь, когда мы хорошо познакомились и, кажется, поняли друг друга: что заставило вас отказаться от исполнения диверсионного задания? Что толкнуло вас явиться к советским властям?

Силс стоял, опустив голову, погруженный в задумчивость. По движению его пальцев, нервно теребивших пуговицу пиджака, Грачик понял, что молодой человек смущен и не знает, что сказать, или не решается выговорить правду.

– Если не хотите – можете не отвечать.

– Нет, почему же, – ответил Силс, не поднимая головы. – Именно теперь и надо сказать... Это Круминьш надумал, что наше дело безнадежно. Именно безнадежно. Нас поймают. Поймают и будет худо.

– Что значит худо? – спросил Грачик.

– Именно так худо, что хуже и нельзя. Если поймают – расстрел.

– Это Круминьш говорил?

– Нас так учили: если провал – надо отравиться. А ни он, ни я – мы не хотели умирать.

– Значит, страх смерти заставил вас явиться с повинной? – спросил Грачик. – А Инга, а Вилма?..

Тут Силс поднял голову и посмотрел Грачику в лицо:

– Именно так: Инга и Вилма тогда... А потом?.. Потом мы все увидели и поняли... Только это долго рассказывать. А вам трудно поверить.

– Я-то поверю, но можете не рассказывать. Прощайте, Силс, – и Грачик протянул ему руку. Силс несмело пожал ее.

Силса уже не было в комнате, а Грачику все казалось, что он чувствует на ладони прикосновение его большой жесткой руки. Было ли в этом ощущении что-нибудь неприятное?

Да, Грачик должен был себе признаться, что именно потому он и думал об этом прикосновении, что до сих пор не поборол в себе чувства собственного превосходства и даже брезгливости, с которыми когда-то смотрел на каждого подследственного. Он понимал, что это вздорное, нехорошее предубеждение. Но инстинкт моральной чистоплотности оказалось не так легко преодолеть. В чертах лиц этих людей, в их глазах, в улыбках, чаще натянутых, чем естественных, даже в слезах раскаяния или горя ему виделось что-то лживое и неприятное. Их лица казались ему особенными, не такими, как лица других людей. Но ведь теперь Силс ни

в чем не подозревался! Это же был только свидетель! Что же мешало Грачику протянуть ему руку так же, как он пожал бы ее любому другому?

Да, конечно, *теперь* Силс не был подследственным, но ведь в недавнем прошлом он был врагом! А разве то, что высшие органы Советского государства – мудрые и осторожные – простили Силса, поставили в ряды советских людей, не делает Силса совсем таким же, как все неопороченные граждане, таким же, как он сам, Сурен Грачян... Конечно, так! Силс сказал бы: «Именно так». Значит... не только брезгливость тут неуместна, но не должно быть даже снисходительности в обращении с Силсом. Конечно, конечно! И самым правильным будет всегда здороваться и прощаться с ним за руку!

При этой мысли Грачик вытянул руку и поглядел на нее... И... усмехнулся. «Конечно, так и должно быть», – вслух проговорил он, возвращаясь к столу.

Целью сегодняшней встречи с Силсом было узнать, принадлежал ли нож Круминьшу и был ли у Круминьша химический карандаш. То, что Грачик услышал, укрепило версию, все более ясно складывавшуюся в его уме. Он был намерен довести ее разработку до конца и предложить Кручинину, как только тот придет. Впрочем, с чего это он взял, будто Нил Платонович намерен сюда приехать? Очень ему нужно бросать отдых и лечение на юге ради того, чтобы помочь Грачику выпутаться из затруднения?

Грачик рассмеялся и отодвинул бумаги: на сегодня довольно! На первый взгляд может показаться, что день не был слишком плодотворным. Но ежели хорошенько проанализировать все, что он услышал от Силса, то, пожалуй, следовало сказать, что теперь он еще больше утвердился в мысли: убийство Круминьша – политическая диверсия. Если непосредственные исполнители преступления и не были только-только заброшены из-за рубежа, то во всяком случае выполняли волю хозяев, находящихся очень далеко отсюда! Это так!

– А на сегодня – финис!⁷ – воскликнул он, захлопывая ящик стола. Вероятно, из-за этого им самим поднятого шума он и не слышал осторожного стука в дверь. А Силс, не дождавшись его ответа, приотворил дверь и заглянул в комнату.

– Вы?! – удивился Грачик.

У Силса был смущенный вид. Он топтался возле двери, теребя в руках и без того измятую шляпу.

– Что-нибудь забыли? – спросил Грачик.

– Именно... Забыл... сказать вам: кажется, я видел этот нож. Именно на берегу, когда Мартын хотел убить Эджина. Это нож Мартына Залиня.

Люди, которым признание их ошибок доставляет удовольствие, – исключение. Грачик не принадлежал к таким счастливым исключениям. Если принадлежность ножа Мартыну и не могла служить уликой, изобличающей его, как участника преступления, то во всяком случае требовала сосредоточить внимание на этой фигуре. Неужели следователь, ведший дело до Грачика, был прав? И как будет выглядеть теперь сам Грачик, когда придет просить санкцию на задержание Мартына?! А ведь ежели подтвердится, что нож принадлежит Мартыну, и ежели удастся установить такие обстоятельства его нахождения близ места преступления, которые скомпрометируют Мартына или хотя бы обнаружат его связь с преступниками, – ареста не избежать. Это было неприятно, чертовски неприятно! Однако прежде всего нужно было вызвать Луизу и самого Мартына, чтобы установить принадлежность ножа и обстоятельства, при которых он очутился в лодке на берегу Лиелупе. Да, да, – на берегу Лиелупе...

Тут нить размышлений Грачика порвалась: в его сознании факт нахождения ножа в лодке старого рыбака ассоциировался с тем, будто нож найден на самом месте преступления...

⁷ Финис (лат. finis) – конец.

Грачик тут же отправил повестки, и наутро Луиза явилась. Она так же, как Силс, подтвердила: да, это тот самый нож, который она отобрала у Мартына Залиня во время драки на пикнике...

Вилма Клинт

Управляющий гамбургской конторой «Национального товарищества “Энергия”», худощавый пожилой человек со впалыми щеками чахоточного лица, с ожесточением стучал трубкой телефонного аппарата. Станция разъединила его во время разговора с Любеком, а он должен был сообщить находящемуся в Любеке правлению этого эмигрантского «товарищества» о больших неприятностях. В трубке раздался сухой щелчок, и управляющий опять принялся стучать по аппарату. Наконец, ему удалось соединиться с главным директором «товарищества».

– Строительная компания «Европа» недовольна дурной дисциплиной наших людей. «Европа» грозит взыскать с нас убытки, которые понесет из-за простоев. Черт знает что, скандал!

– О каких простоях ты говоришь? Что случилось? – сердито перебил директор.

– Началось с этой... как ее... Вилмы Клинт.

– Вилма Клинт? – недоуменно спросил директор.

– Ну да, она оказалась подружкой Круминыша.

– Какого Круминыша?

– Того самого...

– А-а, понял! Но почему же она оказалась на работах?

– Потому, что нам сбрасывают всякую дрянь. Ланцанс не пожелал держать ее у себя в канцелярии.

– Его преосвященство вполне прав.

– Вот она, эта Клинт, и стала из стенографистки бетонщицей.

– Но я спрашиваю тебя: причем тут «Энергия»?

– Клинт – зачинщица сегодняшнего бунта!

– Так в карцер ее, в тюрьму, дрянь эдакую! – закричал директор так громко, что собеседник вынужден был отстранить трубку от уха.

– Я уже отдал приказ об аресте Клинт, но рабочие не выдают ее.

– Что значит «не выдают»? Кто они такие, чтобы «не выдавать»? Или там нет команды порядка?

– Я ничего не могу сделать, не рискуя сорвать работы на строительстве «Европы».

– Ты смешишь меня! – И директор действительно рассмеялся в трубку. – Где мы живем?

И когда мы живем?

– С завтрашнего дня – забастовка, – продолжал управляющий.

– Вызови полицию.

– Конечно, я вызвал полицию. Но это только ухудшило дело.

– Не понимаю.

– Они начитались «Цини» с сообщением о Круминыше и Силсе.

– «Циня»? Как она к ним попала?

– Все уже знают об этом деле.

– А что они раньше не знали, что в советский тыл забрасываются наши люди?

– Дело не в этом, – начиная тоже сердиться, объяснял гамбургский управляющий. – Это ни для кого не новость. Но Круминыш и Силс добровольно явились к советским властям. Вот что вызвало бурю.

– Ах, вот что, – с облегчением воскликнул директор. – Так эту бурю нужно поддержать. Раздуть их негодование. Мы немедленно свяжемся с Центральным советом. Настроения, о которых ты говоришь, нужно укреплять.

– Господи! Господи, боже мой! – в отчаянии воскликнул управляющий. – Наши люди бросают работу, они требуют отправки на родину, понимаешь.

– Какая родина? О какой родине болтают эти ослы?

– «Мы их обманываем»!.. Изволите ли видеть: «Это вранье, будто каторга ждет их в Советском Союзе в случае возвращения»... Они говорят, что имеют право...

Резкий крик директора прервал его:

– Право?! Мы покажем им «право»! Смело хватай красных агитаторов.

– Хотели взять Вилму Клинт, и что получилось? – пожаловался управляющий. – Скандал, черт знает что! Они начинают говорить о своих правах?! Это же просто небывало! Это скандал!

На любекском конце провода наступило продолжительное молчание. Управляющий было подумал: уж не разъединили ли их опять? Но, по-видимому, главный директор попросту обдумывал ответ.

– Так... так... – пробормотал он наконец. – Они говорят: «Право? Отправка на родину?» Это очень серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем ты думаешь.

– Я ничего не думаю, – рассердился управляющий, – но если их не утихомирить, то получится грандиозный скандал. Мы понесем убытки.

– Знаешь что?.. – нашелся главный директор. – Нужно вернуть на работу эту самую, как ее... Ну же, ты только что назвал ее: подружка Круминьша...

– Вилму Клинт?

– Пусть только успокоятся рабочие, пусть вернутся на свои места, а там мы будем знать, что делать: упрячем эту Клинт и урезоним их.

– Попробуй, когда они читают рижские газеты.

– Откуда они их берут? Произведи обыск, осматривайте людей у ворот, газеты отбирайте! Виновных... – Директор задохнулся от гнева и, сделав передышку, решительно заключил: – Нечего стесняться...

Громкий стук в дверь помешал управляющему расслышать последнюю фразу директора. В комнату ввалилась группа рабочих. Они стучали тяжелыми ботинками, громко переговаривались между собою и что-то раздраженно выкрикивали по адресу управляющего. Он отмахивался от них, закрывая ухо ладонью, но шум окончательно заглушил голос из Любека. От имени рабочих латышей, намербованных для военного строительства, пришедшие требовали расчета и отправки обратно в лагерь для перемещенных.

– Что вам делать в лагере? – растерянно спросил управляющий. – Снова сесть на шею благотворителям?

– Нам нужно добиться отъезда на родину, – сделав шаг вперед, крикнула Вилма.

Казалось, при ее словах глаза управляющего готовы были выскочить из орбит.

– Ах, это ты бормочешь о родине? – процедил он сквозь стиснутые зубы. – И что ты называешь родиной, ты?!

– Родина – это родина, – решительно ответила она. – Если господин управляющий забыл, где она находится, то мы помним.

– Вы что же, собираетесь... в Советскую Латвию? – как бы не веря своим ушам, спросил управляющий. – Прямо в лапы коммунистам?

– Наконец-то вы поняли, о чем речь идет, – насмешливо ответила Вилма.

Управляющий попятился, но все же крикнул:

– Никто не бросит работу раньше, чем кончится контракт с фирмой «Европа»! И марш! Все марш отсюда! – Выкрикивая это, он продолжал пятиться к задней двери.

– Мы не желаем больше работать на иностранцев! – крикнула наступавшая на него Вилма. – Поедем туда, где люди работают на самих себя.

– И давно у тебя появилось такое желание? – Управляющий в изумлении остановился, и кулаки его сжались. – Эй, ты!

– С детства меня звали Вилмой.

– Постараюсь не забыть это имечко.

– Записывайте скорее, – усмехнулась Вилма, – а то еще спутаете.

– Я уж постараюсь, чтобы твоя просвещенность нашла себе лучшее применение, дорогая Вилма.

– Благодарю вас, господин управляющий. Но надеюсь, что заботиться обо мне вам уже не придется. С нас довольно вашей каторги.

– Так, так!.. Так, так, так!.. – бормотал управляющий, в бессильном бешенстве постукивая костяшками пальцев по столу. Однако взгляд его делался все более растерянным, по мере того как говорили другие рабочие. Это был случай беспрецедентный – первый в его практике, да и, вероятно, первый за все время существования «Энергии». Вот уже почти десять лет «товарищество» благополучно поставляет рабочую силу многим строительным и горнорудным компаниям. Латышей посылали всюду, где дешевые руки «перемещенных» могли успешно конкурировать на рынке труда. «Энергия» гордилась тем, что даже в Африку, где, как известно, пара рабочих рук стоит дешевле, чем горсть муки, нужная, чтобы эти руки прокормить, – даже туда, на черный континент, «Национальное товарищество “Энергия”» посылало «перемещенных». «Энергия» всегда имела перед собой открытый рынок, жадно всасывающий доведенных до крайней степени отчаяния соотечественников. И право, за десять лет, что действовал этот конвейер сбыта белых рабов в Африку, в Америку и во все углы Европы, где нужны безропотные автоматы для тяжелых работ, еще не бывало такого случая, с каким «Энергия» столкнулась сегодня. – Это же скандал, черт знает что! – бормотал управляющий, исподлобья глядя на делегатов и невольно задерживая бегающие маленькие глазки на лице Вилмы. Ее осунувшееся, выпачканное брызгами цемента лицо едва сохраняло признаки недавней, не по возрасту быстро увядающей свежести. Выбившиеся из-под косынки рыжие волосы яркими прядями спадали вокруг выпуклого лба. – Вон, вон отсюда! – не владея больше собой, завопил управляющий и, расставив руки, двинулся на спокойно покидавших комнату рабочих.

Едва затворилась за ними дверь, он устремился к телефону. Для вызова полиции понадобилось всего несколько минут. После того он поднялся на следующий этаж и прильнул к окошку. Сначала ему была видна только толпа рабочих во дворе конторы, их возбужденные лица, мелькающие в воздухе руки, какой-то вожак на ящике у ограды и снова эта... Вилма Клинт! Управляющему казалось, что ее бледное в темных оспинах цемента лицо в яркой рамке рыжих волос главенствует над толпой. И чем больше он на нее смотрел, – а не смотреть он не мог, – тем ненавистнее она ему становилась. Ему казалось, что в ней, в этой девушке с огненной шевелюрой, – все дело. Вот с кем нужно покончить в первую голову!

Наконец-то за воротами истерически взвыла сирена! Рядом с полицейским фургоном управляющий увидел красный автомобиль пожарных. Через минуту тугая струя воды, направленная из брандспойта туда, где стоял на ящике оратор, сбила его с ног. Брызги рассыпались над головами рабочих.

– Правильно! – пробормотал управляющий.

Вода вырывалась из пожарной кишки с таким шипением, что заглушала слова, выкрикиваемые Вилмой, вскочившей на ящик, чтобы заменить сбитого рабочего. Управляющий видел, как раскрывался ее рот и развевалась в воздухе косынка, которой она размахивала над головой, как флагом. Вот тугая струя холодной воды ударила Вилму в лицо. Девушке казалось, что ей отрывают голову, – так силен был удар. В рот, в нос, в уши – всюду врывалась вода. Вилма задыхалась. Но вместо того чтобы закрыть лицо, защищаться от воды, она обеими руками ухватилась за высившиеся за ее спиной бочки из-под цемента. Удар струи в живот заставил ее согнуться. Она не могла даже кричать от боли – вода по-прежнему заливала ее с ног до головы. Струя сбивала с нее одежду. Вилма держалась, повернувшись к струе спиной. Все видели, как иссякают ее силы. Вот она выпустила бочку, за которую держалась. Ноги ее подкосились, и она упала. Даже тут вода преследовала ее, и удары струи, жестокой, как плеть о тысяче хвостах,

терзали, мяли ее тело, казалось, делавшееся все меньше и меньше. Словно оно таяло в этом неумолимом потоке.

Снимок отца Шумана

В портрете «конвоира» Москва опознала преступника, пять лет тому назад осужденного за убийство и направленного в одно из мест заключения для отбывания наказания. Таким образом устанавливалась личность одного из участников преступления. Однако стоило Грачику потребовать по телеграфу данные из места заключения, откуда, видимо, бежал этот субъект, как прибыл совершенно ошеломляющий ответ: преступник находится в заключении и никуда не бежал.

Грачик вооружился лупой. Однако сколько он ни разглядывал фотографию, полученную от Шумана, сколько ни поворачивал ее так и эдак, ничего нового обнаружить не мог. Но вот лупа дрогнула в его руке: от костела справа налево четко легла тень, а фигуры шагавших перед костелом троих людей... вовсе не отбрасывали тени!.. Да, да, – ни Круминыш, ни его «конвоиры» не давали тени на мостовую, словно солнечные лучи пронизывали их, как бесплотные существа.

Стоило Грачику сделать это открытие, как мысль заработала в том же направлении: почему предметы, находящиеся ближе к объективу, чем Круминыш и его «конвоиры», оказались на снимке более четкими, гораздо резче очерченными. Разве не известно, что не в фокусе могут оказаться предметы, приближенные к аппарату, а не удаленные от него. За менее четким лицом и фигурой Круминыша – снова более четкий куст и фасад костела... Быть может, причиной нечеткости фигуры Круминыша было то, что он в момент съемки двигался и изображение «смазилось»? Но ведь двигался с той же самой скоростью и один из «конвоиров», а его фигура и черты очень ясны – более ясны, чем у Круминыша и второго сопровождающего. Что все это значит... Нужно получить подтверждение специалистов в том, что несоответствие теней и четкости на фотографии означает именно то, что подозревает он сам. Да, но... Лицо Грачика вытянулось в гримасу разочарования: чтобы потребовать ответа у экспертизы, он обязан представить ей достаточный материал – нужны все фотографии, на каких имелось изображение Круминыша, а ни в личном деле покойного в заводууправлении, ни в завкоме фотографии Круминыша не нашлось. Что же касается любительских снимков, то Силс заявил, что ни он сам, ни Круминыш старались не попадать в чей бы то ни было объектив: они боялись, чтобы их фотографии не попали туда, за рубеж.

Единственной подходящей фотографией, обнаруженной Грачиком в делах завкома, был снимок, сделанный во время маевки: на нем виднелся Круминыш, идущий бок о бок с Луизой. Рассматривая этот снимок в лупу, Грачик должен был прийти к выводу, что костюм, надетый Круминышем в день маевки, – тот самый, в котором он виден на снимке Шумана.

Размышляя об этом, Грачик вошел в комнату Силса, когда приехал ее осмотреть.

– Вероятно, это был лучший костюм вашего друга? – спросил Грачик Силса, показывая ему снимок Шумана.

– Именно лучший. Нам выдали эти костюмы, когда освободили из-под ареста.

Грачик смерил взглядом костюм, аккуратно повешенный в нише.

– Тот самый? – спросил он.

К его изумлению Силс ответил:

– Именно.

– Как?! Разве в день исчезновения на Круминыше был другой костюм?

– Именно: как вернулся с комбината, так в рабочем платье и ушел.

Это значило, что в момент ухода Круминыш не мог быть сфотографирован в том костюме, в котором был изображен на фотографии. И второе обстоятельство: весь абрис фигуры Круминыша, его поза, движение на обеих лежавших перед Грачиком фотографиях, сделанных во время маевки и при «аресте», были сходны во всех подробностях. Даже тени на лице и на

платье лежали одинаково. Теперь для утверждения поддельности фотографии, полученной от отца Шумана, Грачику не нужна была и экспертиза.

Снова отец Шуман

Глядя на сидящего перед ним краснолицего человека, со щеками, отвисшими, как на старинных портретах купцов, Грачик думал о том, сколь мало подходит служителю Бога неприветливый взгляд холодных серых глаз, пытливо вглядывающихся в собеседника из-под насупленных седоватых бровей. Священник не отличался разговорчивостью. Каждое слово приходилось из него вытягивать. Самой длинной тирадой, которую услышал от него Грачик, была характеристика Круминыша. Священник произнес ее поучительным тоном:

– Я не отношу покойного Круминыша к морально устойчивым субъектам. Это доказано его самоубийством. Церковь сурово осуждает подобный акт. Круминыш одинаково виновен перед нами и перед Богом.

Грачик не мешал ему. Гораздо полезнее, чтобы спрашиваемый не был настороже и как можно меньше следил за собой. А в данном случае это было особенно важно: очевидно, Шуман не был простаком.

– Меня нисколько не удивил оборот, какой приняло дело, – продолжал священник. – Рано или поздно Круминыш должен был быть арестован: к этому вели его политические взгляды.

– Вы считаете, что его раскаяние в преступлении против народа не искренне?

– Со стороны священника было бы нескромностью дать вам прямой ответ на этот вопрос, – уклончиво ответил Шуман. – Однако могу сказать: мне, как лояльному советскому человеку, было неприятно общение с этим субъектом... Я видел тернистость пути, по которому он шел, и не мог предостеречь его.

– Почему же?

– Мы строжайше воздерживаемся от вмешательства в политику.

– В данном случае было бы полезней предостеречь самого Круминыша и предупредить его друзей, – возразил Грачик.

– Я не имел права это сделать.

– А разве сан не обязывает вас наставить любого заблуждающегося? Даже если рассудить с ваших узких позиций священника: разве вы не должны были сделать попытку спасти Круминыша, если видели, что он идет к тому, чтобы наложить на себя руки?.. Вы, как священнослужитель? Не говоря уже о вас как гражданине!.. Ведь как ловец душ (кажется, так Иисус называл своих последователей-рыбарей) могли уловить в сети католицизма и душу протестанта Круминыша... Разве не так?

Не поднимая глаз, Шуман негромко ответил: все шло путями, предопределенными провидением. Не нам вмешиваться!

– Ну, не будем впутывать провидение в наши дела. Хотя на этот раз даже его вмешательство говорило бы в пользу моих доводов. Вам ли забыть, как строго римская церковь осуждает грех самоубийства? И, наконец... – тут Грачик не смог скрыть улыбки, – вы должны помнить одно из стариннейших изданий папской канцелярии, именуемое «*Taxae Sacrae Paenitenciariae Apostolicae*»⁸. На основании этих «такс» вы имели возможность получить с Круминыша, в случае его обращения, неплохую лепту в пользу своего ветхого храма. Попытка самоубийства, наверно, расценена там не так уж низко. Во всяком случае не ниже, чем стоят фотографии костела.

Шуман поднял взгляд на Грачика, и тот прочел в нем такую неприязнь, что улыбка сразу исчезла с его лица.

– Святой престол никогда не издавал никаких такс за отпущение грехов, – сердито проговорил священник, – это апокрифы.

⁸ Таксы святого апостольского (папского) отпущения (грехов).

– Наука говорит другое, – спокойно возразил Грачик. – И если бы это составляло тему нашей сегодняшней беседы, я наверняка доказал бы вам подлинность Инкунабул, содержащих полные таксы на индульгенции. В числе их я нашел бы и параграф, по которому вы, как убийца Круминыша... – при этих словах Шуман побагровел и отпрянул от стола Грачика. Но Грачик, делая вид, будто не замечает этого, твердо продолжал: – Я имею в виду ваше моральное соучастие... По папской таксе вы, чтобы очистить свою совесть, уплатили бы теперь сами целых два дуката вместо того, чтобы получить кое-что с упущенного прозелита.

– Оставим эту тему, – глухо проговорил Шуман. – Не к лицу мне спорить о таких вещах с...

– С безбожником? – договорил Грачик за умолкнувшего священника. – Ну что же, вернемся к сути дела, хотя вы и могли бы спасти Круминыша.

– Не нам с нашими слабыми силами разрушать то, что уготовано свыше. Однажды встав на путь преступления против своей страны, Круминыш не мог с него сойти. Не совершив диверсии, какая была ему вменена в обязанность, он все же пришел к преступлению: убил милиционера, выполнявшего свой долг.

– Вы полагаете, что и это было предопределено свыше?

– Поскольку это логически завершало жизненный путь Круминыша.

– А путь того, убитого им?

– Было делом Господа Бога решать его судьбу, – уклончиво ответил Шуман.

Грачик решил, что пора, как бы невзначай, спросить о том главном, ради чего пригласил священника.

– Дайте мне адрес фотографа, сделавшего снимок Круминыша на фоне храма.

Лицо отца Шумана отразило усилие памяти. Подумав, он сказал:

– Бессилен помочь вам. Целый ряд рижских фотографов присылал мне свои снимки, желая получить заказ. Адреса тех, кто дал снимки, пригодные для размножения, разумеется, записаны в книгах церкви, потому что им пришлось платить. А эта фотография относится к числу забракованных.

– И вы за нее не платили? – быстро спросил Грачик.

– Как за брак, мы... – начал было Шуман и вдруг осекся: он вспомнил о взятых у Грачика пятидесяти рублях. Но Грачик сделал вид, будто не заметил смущения Шумана. А тот пожал плечами и сказал: – Мне хотелось бы вам помочь. Я запишу вам несколько адресов, но... – впервые Грачик увидел на лице собеседника нечто вроде улыбки смущения. – Вы не рассердитесь, если я кого-нибудь забуду?

– Ничего, ничего, – с напускной беспечностью ответил Грачик. – Это, в сущности, не имеет значения. – И видя, что Шуман намеревается записывать адреса, сказал: – Право, не трудитесь. Не стоит.

Грачик понял: в числе фотографов, которых «вспомнит» Шуман, именно того-то, кто нужен Грачику, и не будет.

Беседа закончилась в непринужденном тоне, и предметом ее не были больше обстоятельства жизни и смерти Круминыша. Тем не менее в каждом новом слове священника, в каждом его взгляде и движении Грачику чудилось подтверждение: перед ним – если не сам автор фальсифицированного снимка «ареста», то человек, хорошо знающий происхождение этой фотографии. Но Грачик не хотел проявлять настойчивости, чтобы не заставить Шумана настроиться. Грачику теперь больше всего хотелось взглянуть на усадьбу священника. Грачик сделал было попытку напроситься на приглашение Шумана, но тот был, по-видимому, мало понятлив или намеренно не понял намека: он не выразил желания видеть Грачика у себя. С каждой минутой крепла уверенность Грачика в причастности Шумана к убийству Круминыша. Эта уверенность и помешала Грачику пожать на прощанье руку гостя. Плохо он справлялся с чувством брезгливости, а ведь еще совсем недавно убеждал себя в том, что...

Встреча в Алуksне

Тот, кому приходилось подъезжать с северо-востока к Алуksне, не забудет впечатления, производимого на путника дорогой, вьющейся вековым бором от самого поворота с Рижско-Псковского шоссе. Очарование этого лесного участка при приближении к городу Алуksне сменяется новым, не менее прекрасным видом: слева от дороги открывается озеро. Его простор, окаймленный лиственными лесами, умиротворяюще действует на путешественника. Усталость исчезает, забываются любые неудобства пути. Озеро прекрасно на утренней заре, когда пронизанный лучами восходящего солнца розоватый туман растекается над камышами, шуршащими от дуновения легкого ветра. Озеро ослепительно красиво среди дня, когда его беспредельная гладь залита ярким солнцем. Но великолепнее всего оно вечером. Под косыми лучами солнца длинные тени деревьев ложатся поперек камышей и, ломаясь на легкой озерной ряби, тянутся и тянутся по воде, как многоглавые и многолапые драконы. В предночной час дальний от дороги берег озера представляется путешественнику сперва светло-желтым, потом золотым и, наконец, загорается алым. Едва ли кто может пройти этот кусок дороги, не остановившись и не полюбовавшись открывающимся видом. Вдали путник увидит северную оконечность острова. Там высятся пока еще невидимые с дороги развалины старинного шведского замка, некогда взятого штурмом молодых петровских полков. Кстати говоря, на этом острове, как гласит легенда, жила в услужении у местного пастора Глюка стряпухой и прачкой Катарина Скавронская, которую Петр Первый сделал императрицей всероссийской. Это обстоятельство, к удивлению свежего человека, является предметом гордости не только каких-нибудь ископаемых старушек, а всех горожан Алуksне, до руководителей местного исполкома включительно. Если новичок-маловвер вздумает усомниться в основательности этой гордости, а то еще, чего доброго, и в правдивости легенды, он наткнется на единодушное сопротивление алуksненцев. Они дружно вступятся за свои достопримечательности: озеро, остров и развалины замка, приобретающие в их глазах особую ценность вышеупомянутым обстоятельством из жизни пасторской стряпухи Катарины.

Грузный человек среднего роста не спеша брел по одной из улиц Алуksне. Он был погружен в задумчивость: голова его была опущена так, что широкие черты красного лица казались еще шире, похожий на картошку нос с сизоватыми прожилками закрывал усы, а короткая борода лежала на воротнике брезентовой куртки. Человек этот не глядел по сторонам. Руки его были заложены за спину, и, казалось, все его внимание сосредоточено на носках собственных грязных сапог, попеременно появляющихся в поле его зрения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.